Вл. КРЫМОВ

ЗАВЕЩАНИЕ МУРОВА

РОМАН

Издатель: Русский Книжный Магазин «Дон»

Нью-Йорк, США. 1960 г.

Вл. КРЫМОВ

ЗАВЕЩАНИЕ МУРОВА

РОМАН

Издатель: **Русский Книжный Магазин «Дон»**

Нью-Йорк, США. 1960 г.

Vladimir KRYMOV

MUROV'S TESTAMENT

Printed by Rausen Bros. 142 East 32nd Street, New York 16, N. Y. 149

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этого романа, Владимир Крымов, был известен в до-революционное время в России как талантливый журналист. Из его газетных статей и фельетонов составились три книги, первая из них была напечатана в 1912 году и вышла четырьмя изданиями, она называлась «О Прочем» — такое заглавие было совсем ново и необычно, но позже появились подражания. Оно указывало на разнообразие тем, затронутых автором, и полное отсутствие политических статей. Из этих книг две последних совсем не попали за границу, началась уже первая мировая война.

Еще совсем молодым, студентом Петровской Академии, Вл. Крымов писал заметки и статьи в московских газетах, а во время Всемирной выставки, на каникулы, уехал в Париж и оттуда писал корреспонденции. В 1909 году он объезжал Южную Америку, по делам большого акционерного общества, как его уполномоченный, и написал тогда в петербургскую газету «Новое Время», самую большую и самую влиятельную того времени, ряд статей, которые обратили на себя внимание не только читателей, но и правительственных кругов. Несколько позже, как журналист, он поехал в Центральную Америку, тогда еще только строился Панамский канал, и написал оттуда ряд красочных корреспонденций и они были совсем новы и необычны для русского читателя.

В 1911 году Вл. Крымов поселился в Петербурге, писал много статей и фельетонов, а в 1913 стал издавать журнал «Столица и Усадьба», журнал совсем нового для России типа, по образцу английских, с расчетом на высший слой читателей и журнал этот имел большой успех. Уцелевшие комплекты и даже отдельные номера этого журнала теперь считаются библиографической редкостью и высоко расцениваются, даже в Советской России.

В апреле 1917 года Вл. Крымов покинул Россию, стал эмигрантом, в 1920 году вышла в Берлине его книга «Богомолы в Коробочке», выдержавшая два издания. В ней он описывал свое первое кругосветное путешествие, Максим Горький в письме к автору высказывает большую похвалу этой книге, хотя в ней не воспевается революция. Другая книга Вл. Крымова, более поздняя, «Люди в Паутине», тоже впечатления другого кругосветного путешествия, была немедленно распродана.

Владимир Крымов написал 27 книг, все они распроданы. Семь его книг изданы по-английски.

Из двадцати семи книг было восемь романов и первый из них вышел в 1925 году в Берлине («Бог и Деньги»), так что романистом Вл. Крымов сделался гораздо позже своей журналистической работы. Последним его романом была «Фенька», изданная в Париже в 1945 году, таким образом предлагаемый здесь роман «Завещание Мурова», его девятый роман, появляется после промежутка в пятнадцать лет!

Вследствие жутких и даже трагичных переживаний во время оккупации Парижа немцами, автор потерял зрение. Это трудное переживание сузило горизонт его внешних впечатлений, но углубило и расширило его внутренний мир — и это его лучший роман.

При свойственной автору сжатости изложения, в этом его романе отведено сравнительно много места переживаниям ослепшей Ады. В мировой литературе, и в русской и в иностранной, имеются рассказы и повести о слепых, но всё это написано зрячими и нет ничего, написанного слепым, а только слепой может действительно правдиво и полностью описать чувства и мысли слепого.

В одной из своих книг Вл. Крымов вспоминает как опытный и талантливый издатель и журналист, А. С. Суворин, тогда уже старик, наставлял его:

«Пишите как начали, просто, сжато и ясно, без замысловатых выкрутасов и туманных фигур, и притянутых за хвост образов и метафор. Не гонитесь за строчками, я назначаю вам высшую построчную плату, но не разматывайте клубок до конца, читатель любит быть умным, он сам размотает...»

Завет старика Суворина Вл. Крымов всё время выполнял и его стиль остался тем же и теперь, таким же сжатым и ясным, с постоянным стремлением вложить в свое произведение как можно больше мысли и как можно меньше ненужных слов.

Об английских книгах Вл. Крымова было много отзывов и рецензий в английской печати, большинство вполне положительных и даже хвалебных, хотя в переводах всё-таки ушли многие характерные и яркие черточки.

В только что вышедшем большом итальянском энциклопедического типа издании «Главные течения современной мировой мысли», профессор Сорбонны П. Паскаль написал отдел о главных русских течениях до революции и в эмиграции: он пишет что Вл. Крымов в своих произведениях «безжалостен к умершим, но тем не менее есть много

согласных с ним». Проф. Паскаль совершенно прав, в своих книгах, будь то фельетоны, путевые наблюдения или романы, Вл. Крымов всегда несколько ироничен, критически и строго относится к людям — не щадит и себя самого — не смотрит на наше русское прошлое непременно через розовые очки. Но уже в его последнем романе «Фенька», который предполагается в скором времени переиздать, отношение к людям более мягкое, примирительное и даже любовное, а в этом новом романе «Завещание Мурова» это примиренное и ласковое отношение к людям сказывается еще определеннее: на одной из страниц романа он приводит слова английского поэта — «не оставляй не сказанным ласкового слова», — и сожалеет что часто повторяя про себя эту фразу, он всё-таки ласковых слов не говорил и потом жалел об этом.

Издатель.

В кабинет директора вошла миловидная складная блондинка лет двадцати, телефонистка и машинистка, Мисси. Она тихонько постучала в дверь, но вошла не ожидая разрешения: знала что никого постороннего в кабинете нет. У нее была изящная походка, на высоких каблучках, и входя в кабинет директора она неизменно улыбалась скромной улыбкой. Директор знал что она не всегда и не всем улыбается, но ему эта улыбка нравилась, хотя он сомневался в ее искренности — ему вообще нравились улыбки и смех, сам он смеялся редко. Мисси уже третий год работала в конторе, он ежедневно общался с нею и составил о ней определенное мнение: «хитренькая, себе на уме, обременять себя работой не любит, но исполнительна когда нужно, очень сообразительная, все помнит что надо и всячески старается угодить». Доверия к ней он не чувствовал, понимая что для Мисси важнее всего деньги, иногда даже ее опасался, но не думал заменять кем-то другим, привык к ней, вообще он привыкал к людям.

«Там какой-то русский господин хочет вас видеть, он плохо говорит по-немецки, я его хотела провести к секретарю, но он настаивает что хочет говорить именно с вами, по личному делу».

«Как его фамилия?»

«Я просила у него визитную карточку, но он сказал что не надо, что вы его знаете. Вот он тут написал по-русски карандашом свою фамилию». Мисси протянула кусочек, оторванный от газеты.

«Хорошо, попросите его войти».

Через минуту в кабинет вошел какой-то неуверенной походкой высокий представительный человек, прилично одетый, и сказал твердым голосом:

«Узнаете? Рискалин. Много лет мы не виделись с вами, Платон Григорьевич, последний раз кажется в семнадцатом

году, но все-таки вы меня вероятно по Петербургу помните. Был даже случай когда я вам оказал маленькую услугу, поместил в газетах какую-то заметку, нужную вам, и что-то двинул в горном департаменте, и вы мне дали тогда за это две тысячи рублей».

«Да, я вас хорошо помню, хотя столько лет не виделись. Где вы были все эти годы?»

«Я к вам не зря, у меня важное дело, и не с просьбой как теперь приходят обездоленные русские, важное дело... Скажите, у вас стены здесь толстые, рядом в комнатах не слышно? А все-таки лучше было бы куда-нибудь поехать, где никто слышать не может, это важно и для вас и для меня. У вас кажется внизу стоит автомобиль?»

Директор транспортно-экспортной конторы Платон Опаров, был несколько удивлен этим появлением давно забытого человека и особенно его разговором, но он уже давно, под влиянием пережитых катастроф, привык не удивляться, и совсем спокойно и вместе с тем с интересом отнесся к словам посетителя.

«Хорошо, если вы так хотите, поедем куда-нибудь где никто подслушать не может... поедем в Груневальд или еще дальше к Николазее в лес».

* * *

Директор позвонил секретарю, передал ему какие-то распоряжения, сказал что уезжает на час или около того, и вместе с Рискалиным они в большом американском автомобиле поехали по направлению к Груневальду, без шофера, его оставили в конторе.

По дороге Рискалин рассказал что его семья погибла, любимая жена и старшая дочь, их убили при переходе русской границы и он эти годы прожил со своей второй маленькой дочерью, которой теперь пятнадцать лет — это самое дорогое и единственное что у него осталось от прежней жизни. Эти годы были очень трудны, злополучны и превратны, но он все свои силы направил на то чтобы спа-

сти хоть этого своего ребенка, вторую дочь, которую он на руках перенес через границу, убегая от большевиков.

«Вы может быть помните, что в Петербурге меня многие знали и многое обо мне говорили, говорили что я беспринципный человек, но нужный и опасный, что я на ходу подметки срезаю, и в этом была доля правды, но все это я делал для своей семьи, которую я любил больше всего, ничего другого. Христианскую заповедь «люби ближнего» я сильно сокращал и любил только свою семью, и у меня ее отняли... Отняли и все то, что я всю жизнь копил, ничего не осталось кроме вот этой моей девочки... Вы вероятно заметили, что я подал вам левую руку, а не правую, правая у меня уже парализована, но к счастью я всю жизнь был левшой и левая еще в полном порядке. Вы как-то были у меня в гостях в Финляндии на озере Малоярви и я вам тогда показывал как я стреляю и вам предлагал стрелять, но вы отказались даже в руки брать револьвер, боялись огнестрельного оружия. Когда-то в полку я был первым стрелком, не в полку, а во всей дивизии, и вы помните как я за тридцать шагов из револьвера попадал в червонного туза, как раз в серединку, вы даже думали, что я заранее эту дырочку проткнул... Так вот я напомню вам, что я и тогда стрелял левой рукой... это не артиллерийская подготовка для какой-то просьбы, как было принято в наших петербургских разговорах, а необходимое пояснение или напоминание. Так вот, еще добавлю что у меня недавно был второй удар, когда и отнялась правая рука, а кроме того у меня рак легких, так по крайней мере утверждают врачи и еще будто-бы скрывают от меня всю правду. Так или иначе, мне остается жить недолго, рак или третий последний удар — конец, но у меня единственная любимая дочь, милая умная девочка, и я не знаю что с ней будет когда я умру, она еще почти ребенок, хотя я все старания прилагал к тому чтобы дать ей трезвый взгляд на жизнь и освоить ее с той обстановкой, в которой приходится теперь жить, среди чужих людей...»

Рискалин остановился, левой рукой вынул из кармана папиросу, и закурил, чиркая спичку тоже одной рукой.

Опаров, давно уже усвоивший правило умело слушать то что другой говорит, ждал что будет дальше.

«Так вот... Я долго думал куда мне пойти с моим решением и выбрал вас. Единственный капитал какой у меня остался и какой я могу завещать моей милой дочери, это оставшиеся дни моей жизни, их не много, и я предлагаю вам следующее. Если у вас есть какой-нибудь человек, которого лучше убрать из этого мира, будь это ваш личный интерес или может быть какой-нибудь партийный, политический, я его уберу: я стреляю без промаха, и никто, разумеется, не будет знать, что он убит по вашему указанию... Хотите я убью советского посла в Берлине или Гитлера, который кажется придет к неограниченной власти, или Муссолини, или просто какого-то Ивана Иваныча, который вам стал на дороге, и ни малейшей опасности для вас быть не может, а вы дадите потом, после моей смерти, моей милой дочери десять тысяч долларов только в том случае, если я не произнесу ни одного подозрительного слова и не наведу на вас ни малейшего подозрения. Вот потому я и предложил вам лучше поехать в автомобиле, а то даже толстые стены иногда что-то слышат... Еще раз повторяю, я убью человека какого вы мне укажете, меня больше не будет, и только тогда вы без всяких расписок понятно, позовете мою девочку и выдадите ей частями десять тысяч долларов, не говоря почему и за что, так что и она не будет знать в чем тут дело и почему вы вдруг становитесь ее покровителем».

Несмотря на долголетнюю тренировку и привычку сохранять спокойствие в самые трудные и опасные минуты, говоривший видимо взволновался, стал прерывисто дышать, снял шляпу и вытер платком пот на лбу, закурил другую папиросу. Опаров был взволнован этим разговором и удивлен его странностью, почти абсурдностью, но в словах Рискалина была такая убедительность и логичность, что он ответил ему спокойно и даже сочувственно.

«Я вас вполне понимаю и вовсе не осуждаю за ваше решение, вообще я привык как можно меньше осуждать

чужие поступки, но только дело в том: мне не нужно никого убивать. Вы не ошиблись обратившись ко мне, если бы я принял ваши условия, то несомненно выполнил бы взятое обязательство, но только мне никого убивать не надо. В политике я участия не принимаю, ни в какой партии никогда не состоял и считаю, что убийствами, вообще террором нельзя создавать благополучия. У меня есть люди, которые неприязненно, почему-то даже враждебно относятся ко мне, но все-таки я не намерен их убивать и потому к сожалению не могу согласиться на ваше предложение... Весьма возможно что вы найдете кого-то другого, но только будьте осторожны, редко исполняют то что обещают — впрочем вам виднее, вы знаете людей не хуже меня. Мы оба с вами прожили петербургскую жизнь, жизнь по-своему прекрасную, какой больше не будет, но вместе с тем циничную и потому не мне вас предостерегать... А может быть ваши предположения о том что дни вашей жизни сочтены — только ошибка, никто так не ошибается как врачи, и вы еще оставаясь жить можете помочь вашей любимой дочери больше, чем одними деньгами».

Рискалин не стал убеждать и доказывать дальше, он как-то сразу осел, его тон совсем изменился, и когда вернулись обратно к подъезду конторы он крепко пожал своей левой рукой руку Опарова и ничего больше не сказал.

• • •

Прошло около двух месяцев. Опять в кабинет директора со своей дежурной улыбкой вошла Мисси. Она была телефонисткой, но так как телефон стоял в приемной, ей всегда приходилось первой разговаривать с посетителями и направлять их или к секретарю, или звонить по телефону директору хочет ли он принять такого-то. Мисси настолько знала порядки конторы и так уже привыкла к настроениям директора, что иногда сама решала нужно ли доложить о пришедшем или просто отказать ему в приеме ни-

кого не спрашивая. Случались такие настойчивые посетители, что Мисси брала телефонную трубку и как будто соединялась с директорским кабинетом, ждала несколько секунд и заявляла пришедшему, что директора в конторе нет.

Но в исключительных случаях, когда посещение было необычное, не деловое, она вместо того чтобы звонить по телефону шла сама в кабинет Опарова. Так было и теперь. Не раз впоследствии Мисси думала почему она пошла докладывать об этой девочке. Так много раз почти ежедневно сама отказывала всяким просителям, а об этой девочке пошла докладывать.

«Там какая-то молоденькая барышня непременно хочет говорить лично с вами и даже не называет своей фамилии, говорит что у нее важное дело, просит принять».

«Молоденькая барышня, вероятно просительница. Спросите ее в чем дело».

«Я спрашивала, но она не говорит... она совсем молоденькая, простенькая девочка, видимо просить о чем-то хочет, она русская».

Почему-то Опаров решил принять ее.

В кабинет вошла стройная изящная барышня, ему понравилась ее походка, а затем ее голос; он привстал навстречу, но еще не предложил сесть и даже подумал, как всегда с новым посетителем, сядет ли она без приглашения, он по этой манере расценивал людей. Если к нему являлся кто-нибудь с просьбой о службе и сразу уверенно усаживался в кресло, то отказ всегда был обеспечен.

Он предложил барышне сесть и тут заметил почему Мисси назвала ее простенькой: на ней не было не только губной помады, но даже и пудры, и это ему понравилось.

«Как ваша фамилия, по какому делу вы ко мне?» мягко спросил Опаров.

«Извините меня что я вас беспокою, но я не могла поступить иначе. Вы знали моего папу, вы вероятно знаете ту трагедию, то преступление, в которое он замешан. Его уже нет, он убил человека и убил себя, и я осталась совсем одна и мне страшно жить... У меня была маленькая служба,

но меня уволили, а из гостинички где мы жили меня выселяют, потому что уже не плачено за два месяца, но все-таки я пришла к вам не с просьбой о помощи, а просто рассказать чего я не понимаю... Мой отец, как вы знаете, убил этого адвоката и потом там же в коридоре застрелился и мне жутко одной среди чужих людей, я даже думала, что и мне нужно прикончить свою жизнь... За день до того как отец убил этого человека он дал мне маленький медальон, это единственная золотая вещица, какая оставалась у нас, медальон и в нем фотографии моей матери и сестры, которых убили. Он дал тогда этот медальон и сказал чтобы я берегла его, не продавала, не закладывала... Последнее время я не каждый день обедала, но медальон висел у меня на шее под блузкой. А вот три дня назад мне так захотелось есть, что я решила заложить его, раскрыла, и из него выпала маленькая бумажка».

Посетительница протянула Опарову небольшую полоску бумажки, скомканную, но потом расправленную. На ней с двух сторон карандашом было написано:

«Когда ты останешься одна, тебе должен помочь Венглер. Если в течение месяца (*месяца* было зачеркнуто и сверху написано *двух месяцев*) ты никаких денег не получишь от него, пойди к Опарову, он все знает».

«На оборотной стороне бумажки был адрес Венглера и ваш. Я пошла к Венглеру в его контору и просила меня принять, но он меня не принял. Я второй раз была и тоже меня не приняли, и какой-то служащий даже сказал чтобы я больше не приходила... И вот я пришла к вам... Что все это значит, может быть вы мне поможете понять?»

И еще как будто сомневаясь нужно ли это говорить, она добавила:

«Все это так непонятно, я не знала что мне делать, не решалась идти к какому-то Венглеру, о нем я раньше ничего не слыхала. Я даже подумала что эта записочка в медальон попала случайно, могло случиться что я и не раскрыла бы медальона еще Бог знает сколько времени. А несколько дней назад мне принесли заказное письмо, поч-

тальон потребовал, чтобы я расписалась, письмо было не мне адресовано, а какому-то иностранцу в Сидней и отправлено заказным из Берлина и адресат не был найден, письмо вернули, а на конверте был мой адрес как отправителя, как будто я его посылала, и мне его вернули. Я разорвала конверт и внутри был листок белой бумаги, на котором почерком милого папы было написано только несколько слов: «Если ты еще ничего не получила от Венглера, расскажи всё Опарову», и вот тут я уже решила пойти к вам».

Опаров долго смотрел на бумажку, перевертывал ее, опять читал, и ему рисовалась совершенно определенная картина. Было несомненно, что с таким-же предложением как и к нему Рискалин обратился к Венглеру и выполнил его указание. Но какие же доказательства? То что он дважды не принял эту девочку говорит за то, что он ничего общего не хочет иметь ни с нею, ни с именем ее отца.

Тогда после этого загадочного убийства Опаров не обратил внимания на заметки в газетах и даже крупным шрифтом, что какой-то русский убил известного адвоката, фамилия Рискалина была изуродована в немецком тексте, но теперь он вспомнил, что об этом случае много писали, мотивы убийства были совсем непонятны. Теперь же он ясно все вспомнил и сама собой протянулась нить между именами убийцы Рискалина, убитого адвоката и Венглера. Опаров задумался. Он опять пристально поглядел на девочку, она не была красивой, но что-то привлекательное было в ее голосе, манере держать себя. Он ясно вспомнил тогдашний разговор с ее отцом.

Первой мыслью было сказать что он не может дать ей никаких объяснений — зачем ему путаться в такое дело? — но еще посмотревши внимательно на девочку, сидевшую перед ним, на ее печальное но милое лицо, он решил заинтересоваться ее судьбой и сказал:

«Придите ко мне дня через два и принесите какое-нибудь письмо отца, чтобы можно было сравнить почерк, а эту записочку оставьте у меня».

• • •

Когда девочка ушла — он даже не спросил ее имени — Опаров задумавшись с минуту смотрел в окно, и когда позвонил звонок телефона постарался скорее окончить разговор, даже оборвал его; ему хотелось думать об этой девочке и ее странном деле. Было ясно что лучше в это дело не впутываться, и если захочется все-таки помочь ей, не начинать расследовать что-либо касающееся этой маленькой записки. Значит Венглер поручил убить этого адвоката, за это обещал какую-то сумму, но теперь даже не желает принять дочь убийцы и это вполне понятно: вступая с нею в какие-либо переговоры он уже наводит на себя подозрение, а эта записочка как будто является нарушением условия, если оно было таким же как то что предлагал ему: никто не будет знать о соглашении, никогда связь его с этим убийством не будет выяснена или даже заподозрена, и только в таком случае он уплатит десять тысяч долларов. А ведь эта записочка уже посвящает кого-то третьего в это дело и потому условие не выполнено. Но ведь Венглер не знает об этой записочке, прошло два месяца и он ничего не сделал.

Сколько ни думал Опаров, разглядывая записочку уже у себя дома, все яснее становилось что лучше не вмешиваться. Венглер понятно откажется признать какую-либо связь с убийцей и получится нечто вроде шантажа. Так он думал, и в то же время точно его подталкивал какой-то бес противоречия. В прошлой своей жизни он не раз влезал в разные истории просто из любопытства или ища острых переживаний, ему всегда казалось что жизнь слишком пресна и нужно ее смазывать горчицей или поливать острым соусом, и вот теперь такое же чувство заставило его позвонить своему адвокату, который не только вел его дела, но и был в то же время старым приятелем по русскому университету.

Опаров спросил знает ли он некоего дельца Венглера, что он может о нем сообщить, есть ли у него какие-нибудь судебные процессы, и если есть то с кем. Адвокат сразу

ответил, что он очень хорошо знает о необычайном процессе Венглера. Опаров даже нечаянно нажал телефонную перекладинку от удивления, так что пришлось опять соединяться: процесс как раз касался того, кого убил отец этой девочки.

Адвокат рассказал что это удивительный юридический случай, он теперь у всех на языке в адвокатской среде. Убитый, сам старый адвокат, оставивший уже практику, весьма почтенный человек, был доверенным богатой русской, вдовы фабриканта; мужа ее убили большевики во время революции, фабрику и именье у них отняли, но коечто она спрятала и с этими ценностями бежала из Москвы на Украину. Выехать из России она не могла, все время была под угрозой, пряталась, жила под чужим именем. Немцы тогда правили на Украине и Венглер занимал какое-то административное место, с ним познакомилась Воронина и поручила ему вывезти в Германию ее ценности и процентные бумаги и даже дала ему ключ от сейфа в Англии вместе с доверенностью открыть этот сейф. Что и куда вывез Венглер — точно выяснить нельзя, но только на все письма доверительницы он ничего не отвечал, а у нее были его расписки с перечислением полученного им на хранение. Только недавно престарелой и больной Ворониной удалось вырваться с родины и она оказалась в немецком курорте Баден-Баден, там она встретила своего старого знакомого по Германии — убитого адвоката, и передала ему все расписки и доверенность на ведение дела против Венглера. На основании этих расписок Венглеру был предъявлен иск в гражданском суде, и в первой инстанции он был присужден к уплате большой суммы и ему даже грозило криминальное преследование за утайку, растрату и обман. Он приговор обжаловал и было мало вероятия, что апелляционное решение будет в его пользу. Но здесь случилось нечто совсем неожиданное и необычное: Воронина умерла в Баден-Бадене, у нее нет никаких наследников за границей, а те родные, что были в России, тоже ликвидированы большевиками; а ее доверенный, почтенный адвокат, убит неким Рискалиным. Никому передоверия адвокат

не оставил и предстоящий апелляционный разбор дела неизбежно поведет к прекращению иска, никто в суд не явится. «И всего на-днях мне сообщили», добавил адвокат, «что дело уже прекращено. Удивительный, небывалый случай...»

После разговора с адвокатом Опаров долго просидел куря сигару и уже выпил второй стакан виски-сода, и ему еще яснее стало что вмешиваться в это дело не нужно. Когда к нему придет эта девочка, он даст ей немного денег, может быть даже устроит какую-нибудь службу, но влезать в историю с убийством...

• • •

Однако когда через два дня, как он назначил, дочь Рискалина снова пришла к нему, он не сказал что ничего не может сделать для нее, не отдал ей записочки, усадил в кресло и стал расспрашивать как и где она жила с отцом все эти годы после бегства из России.

«Я даже не знаю как ваше имя», сказал он.

«Меня зовут Валерия».

«Где вы учились, были в какой-нибудь школе? и вообще что вы знаете?»

«Я нигде не училась, но милый папа ежедневно занимался со мной, он был очень образованный человек. Он мне постоянно говорил что самое главное для меня знать языки, это всегда было важно, а теперь, когда мы выброшены с родины, это особенно нужно, и я кое-что знаю, я хорошо знаю английский и тоже немецкий и французский, хотя меньше. После того как мы бежали из России и в это время погибли моя мать и сестра, мы через Швецию добрались в Англию и прожили несколько лет в маленьком городке в Шотландии. Когда папа на два года уезжал на Шпицберген, я жила в семье пастора, это был очень добрый человек, но немного странный — он все говорил о

луне, когда бывали лунные ночи он не спал, уходил из дому, гулял по берегу».

«А почему ваш отец уехал на Шпицберген?»

«Папа очень не хотел оставлять меня одну, но у нас совсем не было денег, а ему предложили место в какой-то экспедиции на Шпицберген, чтобы разыскивать там уголь, и он согласился, меня оставил у этого пастора».

«Что же пастор вам говорил о луне?»

«Он был милый человек, но какой-то особенный. Я думала что он будет заставлять меня все время молиться Богу, он никогда не заставлял и только по воскресеньям я ходила на мессы, это мне самой было интересно, я даже пела там псалмы вместе с другими... Он говорил что в лунном свете есть большая тайна и что когда люди эту тайну поймут, жизнь их станет много лучше. Он говорил про луну что она холодная и скрытная, но мудрая и добрая».

Позже Опаров вспоминая этот разговор с Валерией даже удивлялся как это он такой деловой человек, в своем деловом кабинете, какой-то случайной девочке, которую видел всего во второй раз, стал задавать такие вопросы о луне, но как раз именно эти вопросы он уже никогда не мог забыть, они оставили прочный след и оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Слушая ее он думал все о том же: вмешаться ли в это дело? Держал в руках ее бумажку, но ей не отдавал. Наконец он решил:

«Вы сказали, что вас выселяют из гостинички, что вы должны там тридцать марок и не знаете где будете жить дальше. Вот возьмите у меня пятьдесят марок, заплатите в гостинице, и пока не найдется что-нибудь другое для вас переезжайте ко мне на виллу, я позвоню моей старой экономке Прасковье Ефимовне, она вас впустит и укажет вам комнату, у меня много там комнат, устройтесь пока там, а дальше видно будет».

Валерия видимо обрадовалась и уже к вечеру была на вилле.

* * *

Опаров позвонил по телефону Венглеру и сказал что нужно переговорить по важному личному делу, где и когда? Условились встретиться завтра в конторе Венглера. Теперь когда решение было как будто принято, опять явились сомнения, зачем он вмешивается в эту историю. Не может же Венглер признать свое участие в убийстве, совершённом Рискалиным, он должен все категорически отрицать, разговор как будто бесцелен и во всяком случае неприятный, и тем не менее он решил его вести. Вспомнил маленький рассказ Эдгара По о дьяволе противоречия, о том как человек, ясно сознавая абсурдность своего поступка, все-таки его совершает, точно кто-то его толкает на это. Вспомнил еще и другого писателя, который утверждал, что необходимы какие-то нелогичные, легкомысленные поступки, они красят жизнь, они делают ее более радостной и более интересной.

Войдя в кабинет Венглера Опаров осмотрелся, нет ли двери в соседнюю комнату и плотно ли закрыта дверь в коридор. Венглер встал навстречу, они были уже раньше знакомы. Венглер был видимо удивлен — какое дело к нему у Опарова?

«Я к вам по несколько странному делу», сказал Опаров. «Вас удивит то, что я буду говорить, но выслушайте меня спокойно и до конца».

И он стал рассказывать ему о Рискалине, об убийстве, о том что к нему пришла его дочь и принесла записочку, из-за которой он и приехал. Записка была у него в кармане, но накануне он заказал фотокопию, из осторожности — Венглер может выхватить записочку и порвать, и как дальше выяснилось это опасение было не без оснований. Венглер был явно взволнован разговором; когда понял о чем идет речь, вскочил с кресла, раздавил папиросу в пепельнице и быстро проглотил маленькую пилюльку, как потом оказалось это был дигиталис — у Венглера была сердечная болезнь и ему угрожал припадок.

Он возмущенно отрицал не только всякую причастность к убийству, но даже утверждал что вообще никогда не встречал Рискалина, что было явной ложью. Опаров не стал дальше вести разговор, он был бесполезен, к тому же Венглер все больше и больше волновался и наконец когда Опаров встал чтобы уходить, он почти выкрикнул:

«Вы знаете, этот разговор похож на шантаж, это опасная игра».

Иначе разговор кончиться и не мог. Но теперь Опаров не только не сожалел что начал его, но еще тверже решил вмешаться в это дело — потом он не раз задавал себе вопрос почему вдруг так решил — может быть наружность Венглера или его голос, какой-то странный запах в его кабинете так подействовали?

* * *

Уже дня три Валерия жила на вилле Опарова, он ее видел только мельком, был занят как всегда делами, возвращался домой поздно усталый и даже взволнованный всякими деловыми недоразумениями. Из слов Прасковьи он понял, что она сразу отнеслась очень неодобрительно к тому что на вилле поселилась какая-то девочка, но теперь видимо несколько изменила свое мнение, Валерия стала ей уже симпатична. Опаров колебался как сказать Прасковье кто это такая, почему она поселилась на вилле, и наконец решил объяснить, что это его дальняя родственница, сирота, которая случайно узнала о нем, пришла в контору и он решил ее временно приютить.

Надо было дать Валерии какое-то занятие, найти для нее место, но этим некогда заниматься, да и как ее устроить когда она ничего специального не знает, недолго где-то служила и оттуда ее уволили. Она знала языки, но даже на машинке не умела писать, о стенографии не имела понятия и по ее же словам ни в какой школе никогда не училась, однако производила впечатление очень толковой и развитой, иногда ее замечания были метки и умны. После

некоторого колебания Опаров решил устроить ее у себя в конторе и поместить в комнате Мисси, в телефонной, дать ей пишущую машинку и пусть учится писать под руководством Мисси, а также научится заменять ее у телефона. Можно было предполагать, что Мисси встретит враждебно Валерию, увидит в ней свою конкурентку, но оказалось что она отнеслась к ней любезно и дружески, только не пускала к телефонной доске, эту работу она считала своей монополией.

Прошло недели три, Валерия уже довольно хорошо писала на машинке, по-прежнему жила на вилле Опарова, приезжала на службу в установленные часы, раньше Опарова, и он никогда не брал ее с собой в автомобиль, было удобное сообщение с Груневальдом по метро. Он предупредил Валерию, чтобы она не говорила в конторе что она живет у него на вилле. Мисси очень интересовалась где живет Валерия и один раз настояла что она хочет провожать ее домой, и Валерия не знала как от этого отказаться, но умно вышла из положения: пошла с Мисси в ту гостиничку где раньше жила и там с нею у подъезда простилась, Мисси видимо поверила что она там действительно живет. Так как в гостиничке долг был заплачен, то ей даже предложили снова у них поселиться, предполагая очевидно что у нее нашлись откуда-то деньги, кто-то ей помогает.

Все это Валерия рассказала Опарову как-то вечером, когда он позвал ее к себе в кабинет, рассказала еще и много другого из своей жизни. Теперь она говорила без застенчивости и даже изредка улыбалась, точно поверила в расположение Опарова.

«Я только отцу верила так, как верю теперь вам... и смотрите как странно, вас зовут Платон Григорьевич, а отчество моего отца было Платонович».

* * *

В конторе было много всяких затруднений, дело было хлопотливое и капризное: колебания валюты, всякие но-

вые декреты разных правительств, запреты вывоза денег то из одной страны то из другой, просто банкротство фирм с которыми приходилось иметь дело. Каждая торговая операция, как будто самая нормальная, оказывалась сложной и ненормальной, и с клиентами возникали недоразумения и иногда под влиянием всех этих затруднений у него опускались руки. И нередко он плохо спал по ночам, обдумывая выход из создавшегося трудного положения. Тем не менее дело шло, оборот увеличивался, в конторе работало теперь двенадцать человек — Валерия была тринадцатой. Он даже как-то подумал: выйдет ли из тринадцатого номера что-нибудь хорошее. В детстве он очень боялся числа тринадцать, а в последние годы уверил себя что это счастливое число и сам подсмеивался над этими своими мыслями, гораздо более свойственными Прасковье, у которой всюду были приметы и она очень большое значение придавала числам, рассматривала и обсуждала всякие цифры, где бы они ни были — на счете, на номере газеты, на билете метро, и дни недели у нее были хорошие и плохие, а самым опасным днем она считала пятницу.

Молодая жена Опарова умерла года два назад, и у него осталась в доме ее нянька, а потом горничная, которая выехала вместе с нею из России; души не чаяла в своей питомице и теперь свою преданность перенесла на него, поэтому Опаров и думал, что она недружелюбно отнесется к Валерии. Но наставления отца сделали свое: Валерия умела располагать к себе людей.

* * *

В деловом кабинете Опарова стоял большой несгораемый шкаф на колесиках, и в него он складывал более важные документы, ключ всегда носил в кармане, и ключ вдруг исчез. Он хорошо помнил, что уезжая в контору положил его в карман, но на этот раз почему-то в карман пальто, а не пиджака, а когда в конторе хотел открыть

шкаф, ключа не оказалось. Он взволновался, в его кабинет без доклада входил только секретарь и Мисси, теперь и Валерия. Был осмотрен автомобиль, не обронил ли там, обыскали все в кабинете, но ключа не нашли. Решил подождать до завтра, еще поискать дома, а затем придется позвать слесаря с фабрики шкафов и сделать новый ключ, а еще лучше переменить замок. Но назавтра ключ вдруг нашелся, он оказался под ковриком на сиденье его же кресла; как он попал туда — было непонятно. Во всяком случае это происшествие заставило задуматься, и когда открывши несгораемый шкаф заметил что в нем что-то переложено — бумаги лежат не так как положил, он ясно помнил что в правой стопке наверху было положено письмо из Англии, а теперь оно лежало не сверху — решил что ключ был кем-то украден, с него сделали точную копию, и теперь этим вторым ключом шкаф был открыт. Замок в двери был в полной исправности, никакого взлома не было. Возникла мысль что кто-то подделал и ключ к двери кабинета. Опаров был уже уверен что все это сделано по поручению Венглера, если не им самим, что он искал записочку Рискалина, она грозила ему многим: не только потерей больших денег, но и уголовщиной, участием в убийстве. Кроме записочки ему опасен был и сам Опаров, нужна была теперь крайняя осторожность, такой человек ни перед чем не остановится...

Эти мысли не оставляли его, он сожалел что впутался в это дело, и в то же время присутствие Валерии как будто скрашивало ему жизнь, на вилле теперь стало не так одиноко.

* * *

Только светало, кто-то легонько постучал в дверь спальни, подождал несколько секунд и постучал сильнее. Опаров слышал и первый стук, но не сразу проснулся, думал что это сон, но теперь вскочил с постели, быстро подошел к двери и еще не отворяя спросил:

«Кто там?.. что случилось?..»

Он узнал голос Валерии, отворил дверь удивленный. У двери стояла Валерия в розовом халатике, видимо взволнованная, она дотронулась до его руки холодными пальцами, и волнуясь, быстро повторяя слова, сказала:

«Платон Григорьевич, извините что я вас разбудила, пойдемте скорее в гараж, там что-то странное... вы должны посмотреть, у меня какое-то предчувствие...»

Опаров накинул халат, они быстро вышли в сад и подошли к гаражу.Ни слова не было сказано пока он отворял дверь гаража, гараж никогда не замыкался, только прикрывались двери.

«Посмотрите», дрожащим голосом сказала Валерия: «вот это круглое под вашим сиденьем, я вчера приехала вместе с вами из конторы и помню что никаких пакетов в автомобиле не оставалось, а тут вдруг что-то лежит...»

Из-под переднего сиденья высовывался полукруг какого-то тяжелого пакета. Перед сиденьем он увидел две тонкие изолированные проволоки такого же цвета как коврик — кто-то умело все это устроил. Опарову сразу стало ясно что под его сиденье подложена мина большого калибра, от нее идут проволоки к зажиганию и если бы он вставил ключ в распределительную доску и включил ток, от автомобиля, гаража и его самого остались бы только кусочки. Кто-то готовился его убить и ясно было кто это.

Он схватил за руку Валерию, почти вытолкнул ее из гаража.

«Сейчас взрыва не будет, там электрический запал и пока ток не включен — мина безопасна... Это Венглер, никакого сомнения, опасный жук, но ничего, я тебя приколю булавкой», уверенно проговорил Опаров и крепко сжал руку Валерии:

«Ты спасла мне жизнь», сказал он, не замечая что перешел на ты.

Он обнял ее и поцеловал не думая куда, поцелуй пришелся в ее светлые волосы, заплетенные на ночь в две косички. Он почувствовал упругость ее молодого тела и тут же подумал что она не красавица, только миловидная

девочка, но хорошо сложена и такая женственная походка, которую он заметил еще тогда в первый день, когда она вошла в его кабинет, и тогда это сразу расположило его к ней. Мелькнули эти мысли, несмотря на более важные и даже трагичные о покушении.

Когда быстро шли к дому чтобы вызвать полицию, мысль была о духах, которые он почувствовал целуя ее волосы; с ними связано столько воспоминаний, и вот теперь опять они, — откуда этот запах? вероятно от этого розовенького халатика, эти духи он дарил и покойной жене.

Пятый час, светает. «Луч Авроры», так называются эти духи.

* * *

Пока живы были родители он два раза на каникулы ездил навестить их и один раз был в том сибирском городе, где кончил гимназию. Встретил там девочку, которую знал когда был еще сам гимназистом. Хорошенькая, хохотушка и болтушка, и в этом была ее особая привлекательность.

«Вы меня совсем не замечали когда были гимназистом», — сказала она при встрече: «но теперь я уже не ребенок, мне пятнадцать лет!» и она задорно рассмеялась. До отъезда в Москву он еще встречался с нею, и прощаясь, на его вопрос что ей прислать из Москвы, Китти — так ее звали и это имя очень ему нравилось — без всяких колебаний ответила:

«Духи, я больше всего люблю духи».

В Москве на Кузнецком мосту, в витрине большого магазина, он увидел рекламу модных парижских духов «Луч Авроры», ему понравилось название, вспомнил о Китти, купил флакон этих духов и послал ей.

Прошло сколько-то лет, жил уже в Петербурге, была уже вилла на Каменном острове. Как-то вечером, когда вернулся из конторы, зазвонил телефон и послышался как будто знакомый женский голос.

«Кто говорит, не узнаю по голосу?»

«Забыли мой голос, это «Луч Авроры», хотите меня видеть?»

Это была Китти. Ручеек сплошного смеха и веселой болтливости за годы обмелел, но все-таки доля веселости осталась, а главное что опять повлекло к ней Опарова, были те же духи, она ими надушилась для встречи с ним. Иногда пустячный штрих совсем изменяет картину, а случайно сказанная кем-то фраза отпечатывается на всю жизнь в сознании.

Она скороговоркой рассказала что неудачно вышла замуж, ушла от мужа на второй день после свадьбы, разводится с ним. Мама умерла, ей осталось порядочное наследство, очень тоскливо было в опустевшем доме и она едет сейчас к своей бывшей гувернантке в Лозанну. Могла проехать прямее через Москву, но очень захотелось увидеть его, только сегодня приехала в Петербург и только сейчас узнала его адрес.

В тот же вечер поехал за нею по указанному адресу и несколько дней она прожила у него на вилле. Прошли опять годы, где она теперь — неизвестно, но осталось яркое радостное воспоминание о ней и оно связано с этими духами.

Что-то длится годами, а воспоминание о нем проносится в секунды, так было и теперь с этими духами.

Вошли в дом, переоделись, Прасковья уже всполошилась, взволнованная и растерянная спрашивала:

«Что случилось, Господи помилуй?»

«Успокойтесь Прасковья, уже прошло, Валерия спасла мне жизнь и может быть и себе самой... Не волнуйтесь, сварите кофе».

Ожидая с минуты на минуту полицию вышел с Валерией на крыльцо, опять держа ее за руку.

«Почему ты ночью пошла в гараж, зачем?»

«Мне не спалось, я часто плохо сплю ночью, особенно когда луна».

«Но почему ты пошла именно в гараж?» еще раз спросил Опаров, уже совсем перейдя на ты, и это казалось теперь так естественно, иначе и быть не могло, Валерия стала близкой, с ней нужно уже жить и дальше.

«Так почему же ты зашла именно в гараж?»

«Там на круглой грядке расцвела удивительно красивая роза, с таким тонким запахом и я ее сорвала и хотела поставить в бокальчик в автомобиле, а то ведь вы так и не успеваете посмотреть какие цветы расцветают у вас в саду».

«Какая случайность что Валерия захотела поставить розу в бокальчик автомобиля... а может быть это совсем не случайность спасшая меня, я сам заметил бы что-то неладное? Нет, я отворил бы переднюю дверь и просто сел бы на свое место и мог не заметить тонких проволочек... а Валерия отворила заднюю и потому сразу заметила».

Вспомнил что уже несколько раз видел в бокале автомобиля какие-то цветы, но думал что это садовник ставит, а значит это ставила Валерия.

Он опять привлек к себе Валерию и теперь он ясно почувствовал что этот тонкий, знакомый такой памятный запах идет от халатика, ведь это же халатик его покойной жены, очевидно Прасковья дала его Валерии.

Он обычно не замечал как была одета его жена или другие женщины, которыми он интересовался, было всегда какое-то общее впечатление, но никогда не мог бы описать подробности туалета, было ли целое платье или отдельная блузка и юбка, и даже какого они были цвета, из какой материи — только бархат почему-то запоминался. Он любил прикосновение к бархату и женщина в бархатном так и оставалась у него в памяти как бархатная; или запоминался какой-то бант, необычная брошка, но больше всего аромат связанный с этой женщиной, духи, которыми она постоянно душилась, какой-то ее собственный аромат и еще особенно голос, голос в разговоре, не в пении, певчих голосов Опаров даже боялся и за всю свою жизнь увлекаясь нередко артистками, почти бегал от оперных певиц.

* * *

По звонку в полицейский участок и даже в «полицей-президиум» через полчаса в саду виллы было уже несколь-

ко полицейских, инспектор и специалист по бомбам. Картина была ясная: большая мина военных лет включена была в зажигание мотора, вместо ударника был вставлен электрический зажигатель.

Присутствие мины произвело целый переполох и очень скоро приехал из Берлина и сам начальник уголовного розыска, известный однорукий комиссар, написавший между прочим интересную книгу о преступлениях, какие ему пришлось раскрывать. Он очень заинтересовался этим покушением, пробовал расспрашивать Опарова кого тот подозревает, и сам намекал что тут несомненно какая-то политическая подкладка. Опаров сказал что никого не подозревает, ни в какой политике не участвует и политических врагов у него нет. Комиссар все-таки настаивал что это идет от какой-то советской организации. Тщательный обыск ничего не дал кроме того, что в глубине сада в железной сетке ограды оказалась большая дыра, только что прорезанная, и тут же валялись ножницы военного образца, какими прорезались проволочные заграждения. В спешке или нарочно злоумышленник бросил эти ножницы, они лежали по ту сторону забора, осмотр их ничего нового дать не мог. Опарову предложили приехать в полицейпрезидиум, но он сказал что очень занят, никаких новых данных прибавить не может, никого не подозревает и вообще это дело его мало интересует, раз он остался жив. Комиссар только пожал плечами, поболтал пустым рукавом своей несуществующей руки и уехал удивленный тем, какие странные люди эти русские. Двое специалистов уже увезли мину.

«Венглер, никаких сомнений, это он... вот мерзавец, но ничего, я с тобой справлюсь», подумал Опаров и тут же опять пришла мысль зачем он вообще впутался в это дело, ведь это все от Валерии и Валерия спасла ему жизнь, и без Валерии было бы пусто, уже нельзя уйти от нее.

«Ты будешь ездить теперь в контору всегда со мной в автомобиле или тебя будет провожать Писанка, никогда не выходи из дому одна, даже здесь в Груневальде». Валерия молча согласилась, как будто понимая что мина в авто-

мобиле касается также и ее, хотя она еще неясно понимала как связывается убийство, совершённое отцом, с Венглером. Несколько раз пробовала спрашивать Опарова, но тот только обещал что все разъяснит позже, а пока об этом лучше не говорить, только нужно быть очень осторожным.

В ночном столике у Опарова всегда лежал небольшой заряженный револьвер, а теперь он купил и второй, носил его постоянно в заднем кармане, полицейский комиссар выдал ему разрешение на это, даже сам предложил.

Комната Валерии была во втором этаже, там же где и Прасковьина. Со счетом этажей всегда бывали неясности: по заграничному счету это второй этаж, а по русскому — третий, и Опаров не раз думал что русский гораздо логичнее.

Ее комната как раз приходилась над спальней Опарова, и иногда ночью он слышал что она мягко и осторожно там ходит, ей не спалось. В эту ночь он не слышал ее шагов, крепко спал.

Бессонница Валерии спасла ему жизнь.

* * *

Опаров все-таки поехал в контору, диктовал деловые письма, но мысль все время возвращалась к бомбе, Венглеру и Валерии. Решил позвонить Венглеру и сказать ему коротко и немного, но так чтобы от этих слов зависело многое. Лучше не звонить из конторы и даже не из дому, а с какой-нибудь телефонной станции или из уличного автомата. Так и сделал.

На звонок ответил Венглер, узнал его голос, и Опаров не называя своего имени сказал спокойно и твердо.

«Предприятие с миной не удалось. Никаких указаний полиции я не дал, но при какой-либо новой попытке все будет рассказано. А на всякий случай мой рассказ и записочка в засвидетельствованных копиях переданы нотариусу в запечатанном пакете, чтобы вскрыть его в случае моей смерти. Прекратите ваши операции, иначе будете жалеть».

Несколько секунд Опаров ждал ответа, но в телефоне было полное молчание, только что-то шуршало и что-то стукнуло, видимо Венглер выронил трубку.

Когда оказалась бомба в автомобиле, когда он говорил с полицейскими, когда решил позвонить Венглеру и сказать ему эти «сакраментальные» фразы, Опаров был как будто спокоен, поступал логично и обдуманно, возбуждение и волнение пришли теперь. Так с ним обычно бывало: сохраняя самообладание в трудные минуты, каких немало было в жизни, он был как будто спокоен, даже мог улыбаться, и это не раз помогло ему, но волнение наступало позже.

На следующее утро тоже решил как обычно ехать в контору, выехал из гаража, проехал железные ворота, которые во-время растворил Писанка, и вдруг вместо того чтобы повернуть налево и ехать в Берлин, круто повернул направо...

Писанка, и дворник и садовник, и одно время даже повар, был ценным человеком. Изверившись во многих и многих людях, Опаров почему-то верил Писанке, не боялся его. Несколько лет назад, когда только была куплена эта старая вилла и ее перестраивали, пришел на постройку какой-то человек невысокого роста, с черными усиками, и спросил нет ли какой-нибудь работы. Опаров побаивался таких случайных бродячих людей, но этот почему-то ему понравился; стал расспрашивать кто он, что умеет, почему без места? Писанка рассказал что был унтер-офицером в мировую войну, попал в плен к немцам, просидел в лагере почти четыре года. Большинство пленных вернулись в Россию, а он остался в Германии, никакого места у него сейчас нет, не может ли он быть сторожем тут на постройке, знает разное мастерство, «и все будет в целости, ничего не украдут», добавил он напоследок. Опаров оставил его сторожем, потом Писанка стал садовником, потом заменил кухарку, которая должна была рожать, и когда ремонт виллы был закончен, Писанка поселился в одной из верхних комнат; и покойная жена и Прасковья очень хорошо к нему относились. Но однажды Писанка в незапеча-

танном конверте подал Опарову письмо, тщательно написанное разборчивым, почти каллиграфическим почерком, и смущенно попросил его прочесть. Прочтя Опаров не только удивился тому что Писанка не рассказал ему, а счел нужным писать, но и само письмо было необычное, какой-то отзвук прошлого, уже ушедшего, хорошего или плохого, но во всяком случае невозвратного. В самых вежливых выражениях Писанка писал что он неосторожно сблизился с какой-то молоденькой немкой, она от него забеременела и он должен на ней жениться и просит на это разрешения.

Некоторое время жена Писанки исполняла обязанности горничной, но потом появился ребенок, который иногда плакал и кричал, и Писанку пришлось переселить в полуподвальный этаж, но плач был слышен и оттуда, и меньше чем через год появился и второй ребенок. Пришлось нанять для Писанки квартиру неподалеку. Он остался на службе, но стал уже приходящим, как и старая немка, превосходная повариха; для нее нашлось бы помещение на вилле, но она была семейная, у нее были внуки и она не хотела уходить из семьи.

* * *

Шоссе шло среди густого леса, заботливо прибранного как и все в Германии. Сразу Опаров поехал быстро, но затем замедлил — зачем и куда он едет, почему не поехал в Берлин? Совсем замедлил ход чтобы отдать себе отчет что он делает. Каким образом кто-то мог пробраться к нему тайком, прорезавши проволочный забор, и подложить мину в автомобиль, и никто не слышал, в доме был он, Прасковья и Валерия. Решил что Писанку нужно поселить при вилле, в дальнем углу построить небольшой домик, сеткой отделить этот участок, и пусть там Писанка живет со своей случайной женой и детьми, они уже больше не будут беспокоить, не будут бросать камешки на газон, машина для стрижки газонов не будет ломаться, цветов на грядках не будут рвать.

А Валерия?.. В жизни Опарова было много разочарований, сколько раз он ошибался в людях, которых считал друзьями, и невольно минутами являлось недоверие и к Валерии, так странно вошедшей в его жизнь.

Однако она спасла ему жизнь, может быть случайно, но это вышло потому, что она ставила цветы в бокальчик его автомобиля, и в этот раз тоже хотела поставить только что распустившуюся розу: неужели это только хитрая игра еще почти девочки? Нет, не может быть, она хорошая, судьба столкнула ее с ним и она его искренне ценит, быть может любит.

Над словом любовь много раз он задумывался, и как это ни странно, выходило так что он в своих чувствах был более искренним чем женщины, с которыми пришлось встречаться, с которыми потом была полная близость. Некоторые позже были искренни, но начиналось обычно с материального, их привлекала не его внешность или ум, а главное то окружение, та обстановка, в которой он уже жил: своя вилла, автомобиль, дорогие рестораны, первый класс в поездах и даже оплаченный счет у портнихи. С Валерией ничего этого не было, и ему хотелось верить что тут искреннее чувство — она осталась одинокой после трагической смерти отца, и в нем нашла опору.

Доехал до Шлахтензее, поставил автомобиль на край шоссе и пошел к озеру. Сел на склоне почти у самой воды на каком-то пне недавно срубленного дерева. Было совсем тихо, даже птиц не было слышно, только прошумел электрический поезд, за ним другой, встречный; издали доносился звук проезжавших автомобилей, где-то очень далеко прогудела фабричная сирена.

Что-то защекотало ему шею, он машинально протянул руку и схватил большого жука, который почему-то решил заползти за воротничок рубашки. Вместо того чтобы просто бросить его или даже раздавить, он осторожно взял его двумя пальцами и сразу узнал знакомого жука, при этом еще очень редкостного — это был большой темно-коричневый дровосек с ярко-желтыми, как бы нарочно неровными пятнами, и как всегда у дровосека с очень длин-

ными усами. Жук тихонько заскрипел, звук шел от трения большой усатой головы о туловище, этот звук хорошо знал Опаров с детства; он тогда с увлечением собирал насекомых, собрал несколько ящиков с жуками и бабочками и очень этими ящиками дорожил. Классификации насекомых и их латинских названий он тогда почти не знал, но расценивал их по красоте и необычности, некоторых считал особенно редкими, и вот теперь этот темно-коричневый дровосек с желтыми пятнами был старым знакомым: когда-то такой был у него в коллекции и он очень его ценил.

Осторожно держа за спинку старого приятеля, стал с ним разговаривать:

«Не скрипи, не бойся, я тебе плохого не сделаю. Когда-то в былые годы я посадил бы тебя на булавку, но теперь ты для меня только воспоминание юности, я сейчас тебя выпущу — ползи куда хочешь... Но почему ты один, у тебя нет ни жены, ни подруги? Вы странные существа, живете все время в одиночку и только на какие-то минуты ищете супружеской связи, а потом опять врозь, и умираете, и даже никогда не знаете своих детей».

Опаров вспомнил что у всех насекомых непременно шесть ножек, а у пауков и клещей — восемь, и он в детстве наивно хвастался этим своим знанием не только перед сверстниками, а даже и перед взрослыми, очень гордился когда они этого не знали. Перевернув дровосека на спинку сосчитал что у него именно шесть ножек. Жук барахтался на ладони стараясь встать, опирался на свои громадные усы, скрипел, может быть чувствовал смертельную опасность — так подумал Опаров, и такие непривычные мысли теперь занимали его. Он осторожно поставил жука снова на ноги, погладил его как гладят кошек, расправил его длинные усы и громко сказал:

«Ну уползай, или лучше улетай, найди себе подругу, если не поздно».

Дровосек приподнял твердые рисунчатые надкрылья, распустил длинные перепончатые крылышки, и точно вздохнувши, тяжело поднялся с ладони и тихо гудя, улетел.

* * *

Вдали послышался скрип весельных уключин и из-за берегового мысика показалась лодка; в ней сидели какой-то немолодой человек и молоденькая женщина в чем-то розовом, она гребла. Когда они подплыли ближе, можно было разглядеть уже подробнее: мужчина был лет пятидесяти и сидел у руля, а женщина в розовом, совсем молоденькая, легонько гребла, без усилий, как будто забавляясь. Вспомнился розовый халатик Валерии.

Теперь он только впервые подумал, что вот уже столько времени Валерия живет у него в доме, но ни разу ему не приходила мысль есть ли у нее какая-нибудь одежда, с каким багажом она приехала. В конторе она бывала все в том же платьице и в нем же ходила дома. Только теперь припомнились слова Прасковьи что Валерия приехала на виллу всего с одним чемоданом, какая же у нее могла быть одежда, и он ни разу об этом не подумал за все это время. Может быть Прасковья дала ей что-нибудь из оставшихся платьев покойной жены — еще много висело в шкафах. Стало неловко за его невнимание, а уже не было сомнений что после вчерашнего происшествия он связан с нею и Валерия никуда не может уйти из его дома. Связан надолго, а может быть навсегда.

Все смотрел на лодку, особенно на розовую блузку девушки, стараясь догадаться что происходит в лодке, чем связаны эти люди, почему они утром в рабочее время решили кататься по Шлахтензее. Что это — отец и дочь, или это любовная связь с такою разницей лет? По костюму мужчины он определил, что это не какой-нибудь мелкий служащий или мастеровой, а скорее человек с уже определенным социальным положением: у него умное интеллигентное лицо и вот он в рабочие деловые часы катается с молоденькой девушкой по пустынному теперь озеру; может быть у него тоже важные неотложные дела в его конторе, может быть там служащие ждут его распоряжений и от этого страдают дела, а он все бросил для этого свиданья на озере с какой-то девушкой в розовой блузке.

Что-то изменилось в течении его привычных мыслей, точно переключился ток на другой вольтаж. Посмотрел на часы — оказывается просидел тут почти два часа — встал с пня и быстро пошел к автомобилю, как будто более уверенной и твердой походкой чем шел сюда. Уже в автомобиле, быстро приближаясь к дому, решил сейчас же вызвать из конторы Мисси.

* * *

Позвонил в контору.

«Мисси, возьмите всю сегодняшнюю почту и привезите ко мне на виллу сейчас же...»

Видимо удивленная, судя по голосу, Мисси ответила что сейчас же едет. Он еще добавил:

«Возьмите такси чтобы было скорее».

Через полчаса Мисси была у него в кабинете, смущенная, совсем не такая какой она постоянно входила в его деловой кабинет. Казалось что она что-то уже понимает, понимает что это вызов неспроста, но все-таки старалась улыбаться своей постоянной сдержанной улыбкой.

«Вы давно знакомы с Венглером?» в упор безо всякой подготовки спросил он Мисси, когда она села в указанное ей кресло около его стола; солнце как раз светило ей в лицо, она даже щурилась.

«Я не знаю кто такой Венглер», ответила Мисси.

«Вы не знаете кто такой Венглер? Вот что, Мисси, разговор крайне серьезен и все зависит от того будете ли вы говорить правду, ничего не скрывая, или для вас могут выйти весьма неприятные последствия. Сначала выслушайте меня, а потом отвечайте, но подумайте как следует прежде чем отвечать... У меня имеются доказательства что вы каким-то образом умудрились открыть мой несгораемый шкаф и что-то там искали, и я знаю что вы там искали. Прежде чем ответить мне как вы умудрились это сделать, скажите кто это вам поручил, что вам было за это

обещано? Если вы не знаете кто такой Венглер, то кто же вам это поручил?»

Мисси явно волновалась, нервным движением вынула из сумочки платок и стала вытирать глаза, может быть действительно плакала. Немного помолчав она тихо, совсем изменившимся голосом ответила:

«Я все расскажу, это было глупо и преступно с моей стороны, я уже сама думала во всем вам признаться, я вам все расскажу... Мне позвонил по телефону какой-то господин и назначил встретиться на вокзале Цоо; чтобы я приколола слева красную розу и он меня узнает, чтобы села за отдельный столик в буфете первого класса; он сказал что важное дело, очень для меня интересное, я не пожалею. Это меня очень заинтриговало и я после службы поехала туда, села за столик и ко мне подошел элегантно одетый господин, с уже седыми усами, в котелке, и сказал что ему нужны мои услуги, за которые он хорошо заплатит, а я ничем не рискую... Он тут же дал мне сто марок и добавил что я столько же буду получать каждый раз при встрече с ним. Сначала я подумала что это какое-то ухаживанье, но он говорил таким деловым тоном, совсем не похожим на ухаживанье. Он сказал что я должна непременно как-нибудь принести ему всего на час или на два ключ от вашего несгораемого шкафа, с него сделают слепок и ключ будет вам немедленно возвращен, никто ничего знать не будет и я ничем не рискую. И что это вовсе не для того чтобы ограбить несгораемый шкаф, а ему нужно найти в этом вашем шкафу какую-то маленькую бумажку, от которой очень многое зависит и вам никакого вреда от этого не будет... Я сказала ему что не хочу причинять вам никакого зла, что я вас уважаю и люблю».

Опаров прервал:

«Не болтайте ерунды, говорите только правду, или завтра же вы будете у судебного следователя, а затем в тюрьме».

Мисси заплакала всхлипывая.

«Выпейте воды, вот графин... вот вам одеколон», холодно и уверенно продолжал он. Мисси пришла в себя, вы-

терла глаза и уже более спокойно, как будто наконец решившись говорить действительно правду, продолжала:

«Я не лгу, что я вас люблю, я давно это старалась вам показать, но вы не замечали, вы не хотели замечать, я вам не интересна... Он сказал мне что это дело касается женщины, любовной интриги, никакого убытка вам не будет, но я должна достать ему ключ, и если я это сделаю он мне даст пятьсот марок. Я не хотела делать вам никакого зла, но во мне загорелась ревность: если это касается какой-то женщины, то я решилась согласиться... Я сказала вам правду что не знаю никакого Венглера, может быть это действительно Венглер, я опишу вам наружность этого человека, но только я до сих пор не знаю ни его имени, ни его адреса, он назначал мне свидания то на вокзале, то в Тиргартене, и всякий раз при свидании давал деньги... Я видела как-то как вы приехавши утром в контору вынули ключ несгораемого шкафа из кармана пальто и я потом несколько раз искала в карманах пальто, и нашла ключ... Во время перерыва на завтрак я отвезла ключ по указанному адресу в какую-то мастерскую и через час получила его обратно, и подложила его под коврик сиденья вашего кресла. Он опять дал денег и сказал что я сама должна открыть шкаф в воскресенье, когда в конторе никого нет. И назавтра в воскресенье я пришла в контору в ваш кабинет, отомкнула шкаф и искала узенькую тоненькую бумажку, на которой карандашом написано несколько слов, но я ее не нашла. Он предупредил меня чтобы не брать никаких деловых бумаг или денег, ничего не перекладывать, чтобы не возбудить подозрения что кто-то открывал шкаф... Он был очень недоволен когда я сказала ему что я ничего не нашла, и он поручил мне как-нибудь побывать на вашей вилле и посмотреть есть ли у вас там несгораемый шкаф и где он стоит, но я от этого отказалась. Вот и все, я сказала вам всю правду, я очень виновата перед вами, простите меня...»

Опаров помолчал некоторое время, в упор глядя на нее, поверил что она говорит правду, вполне возможно что Венглер никогда не называл своего имени.

«Вот что, Мисси, вы совершили подлость в отношении меня, после того случилось еще многое о чем вы не знаете, я должен был бы немедленно уволить вас и передать дело судебным властям, но я этого не сделаю. Я хочу вам верить, но зато теперь вы должны будете сообщать мне подробно тотчас же все что будет поручать вам Венглер, а пока продолжайте с ним встречаться. Поезжайте в контору и занимайтесь вашим делом как будто ничего не случилось, но имейте в виду что малейшая ложь будет для вас катастрофой. Где ключ от шкафа?»

«Они у меня здесь», сказала Мисси, порылась в сумочке и дрожащей рукой вынула два ключа — один от шкафа, другой от кабинета.

* * *

У Опарова часто бывала бессонница, дела не выходили из головы, и ночью обдумывал как решить, как поступить в данном случае; гнал эти мысли, хотелось заснуть, начинал думать о чем-нибудь другом, но опять перескакивал на прежнее. Совсем уйти от мыслей не мог, вспоминал Игнатия Лойолу или еще какого-то другого церковного подвижника, который записал что самое трудное совсем не думать или думать о чем-то заказанном, о каком-нибудь псалме, все время повторять его мысленно или шепотом и не позволять мысли отскочить в сторону — это называлось тогда «ассидией»; для человека, привыкшего мыслить, легче умертвить плоть чем умертвить мысль. Он хорошо помнил эту запись и завидовал тем людям, которые мало думают или могут совсем не думать. Если бы нужно было надеть цепные вериги чтобы заснуть, охотно сделал бы это, но и они не помогут, даже завернувшаяся складочкой простыня беспокоила и мешала заснуть. Бессонница становилась мучительной и он уже боялся что она может кончиться психическим расстройством — всё эти проклятые деловые мысли! не пора ли уйти от них, прогнать прочь стремление к накоплению, оно по кусочкам съедает душу...

Но в эту ночь он с вечера сразу заснул. Проснулся от какого-то легкого шороха или может быть ветерка из окна. Хотя ночь была не теплая, он вечером приоткрыл немного окно, задернувши его как всегда тяжелой плюшевой портьерой, и вспомнил что засыпая видел в просвет портьеры маленькую светлую полоску и она была тоже на ковре спальни, полная луна была как раз на этой стороне дома. Открывши глаза он с удивлением увидел что у раздвинутой портьеры и совсем отворенной половинки окна, стоит Валерия в ночной рубашке, перегнулась через барьер балкончика и смотрит в сад. Каким образом она могла попасть сюда в припадке лунатизма — дверь спальни заперта? Он вскочил с постели и тихо но быстро подошел к окну — ведь она может перегнуться еще больше и упасть. Он обнял ее сзади, осторожно но крепко, ни слова не говоря — читал где-то что лунатика нельзя испугать, он упадет, может разбиться. Милая девочка, неужели она действительно лунатичка? Но как она попала сюда?.. Рубашка сползла с одного плеча, маленькая молодая грудь была приоткрыта, тело было такое упругое, как бывает только у молодых, и такое холодное, она простудится. Обнимая ее он отодвинулся осторожно от окна, и на секунду задумавшись что делать дальше, положил ее на свою постель и прикрыл пуховым одеялом. Валерия как будто все еще не просыпалась, хотя глаза были открыты, смотрели неизвестно куда. Ему самому стало холодно, он накинул халат и снова подошел к постели. Теперь Валерия уже сознательно смотрела на него, охватила его шею руками, притянула к себе и стала целовать, и это были поцелуи не девочки — поцелуи любви, настоящей или деланной — мелькнула и эта мысль. Она не выпускала его из своих объятий.

* * *

Прасковья вставала всегда в семь часов, ночью она слышала что Валерия тихонько ходила по комнате, а потом сошла вниз, так бывало не раз. Прасковья говорила

как-то что Валерия лунатичка: как только лунная ночь, так она и бродит по дому, а то и в сад выйдет, походит, походит, а потом вернется к себе в комнату и спокойно спит до утра. В это утро проходя мимо комнаты Валерии она заметила что дверь приотворена, заглянула и увидела что кровать пуста — такого случая еще не бывало, под утро Валерия всегда была в постели. Она обеспокоилась не случилось ли чего, как в то утро с бомбой, может быть она где-нибудь в саду, простудится, может быть спит на траве или ушиблась, поранилась? Несмотря на свои годы Прасковья быстро сбежала вниз к выходной двери, дверь была заперта на защелку и на ключ изнутри, здесь Валерия не выходила; побежала к другой двери, к черному ходу, там тоже было заперто.

Снова поднялась во второй этаж и тут с удивлением заметила, что дверь в спальню Катеньки, покойной жены Опарова, приотворена, а она всегда была заперта, в комнате приказано было ничего не трогать, жалюзи всегда были спущены, портьеры сдвинуты. И тут только Прасковья вспомнила что третьего дня было велено разобрать все в шкафах и ящиках, поднять жалюзи, вычистить окна, и вчера она этим была занята, даже кухарка помогала, а Писанка снаружи протирал жалюзи и окна. Но не успели все кончить и часть вынутого из шкафов лежало на кровати и на кресле, а на полу стояли две шкатулки.

Дверь из этой комнаты в спальню Опарова всегда была приоткрыта, к ней подошла Прасковья и услышала голос Валерии, сдержанный, почти шопот. Она тихонько отошла от двери — не удивленная, скорее успокоенная, спустилась вниз хозяйничать. Давно ждала этого.

* * *

Перед смертью жены, особенно последний год, когда она стала истеричкой, Опаров уже тяготился ею, но когда она умерла почувствовал себя одиноким и помня старинное

правило, что лекарством от потери любимой женщины может быть только другая женщина, стал общаться с разными молодыми женщинами — главным образом артистками, склонными к романам. Даже там где начиналось как будто искренним влечением, быстро оказывалось что только деньги важны, да иначе и быть не могло, ясно понимал он: не может же всякая женщина искренне относиться к нему, случайному человеку, тем более внешне холодному. В действительности он был сентиментален, но тщательно скрывал свои внутренние переживания, боялся их высказывать, чтобы не оказаться смешным, чтобы эти его чувства не были потом осмеяны, а это так любят делать женщины. Еще в юности прочел и хорошо запомнил строки английского поэта: «не оставляй несказанным ласкового слова», и все-таки был скуп на эти ласковые слова, и даже жалел иногда об этом.

После смерти жены он пробовал заполнить душевную пустоту общением со случайными женщинами, но потом сразу точно обрезало; целиком погрузился в дела конторы, думал только о делах, как бы получить какую-то прибыль, даже читать стал мало, начинал то одну то другую книгу, то роман то научную, и после десятков страниц откладывал и к ней уже не возвращался. И так шло до появления Валерии, этой девочки, пришедшей к нему за советом и помощью.

За последний год даже ни разу не был в театре, все наполнено было делами и только изредка являлся вопрос зачем он это делает, куда он идет, какая у него цель в жизни.

С этой лунной ночи прошли месяцы. Опаров не жалел о случившемся, он все больше привыкал к Валерии, казалось что уже очень давно ее знает, и даже не представлял себе теперь своей жизни без нее.

Как-то опять вызвал к себе Мисси и расспрашивал встречается ли она с Венглером, но Мисси клялась что больше этот человек не назначает ей свиданий.

* * *

В деловые часы в контору позвонил нотариус, которого по фамилии Опаров давно знал, и просил сегодня же заехать в его бюро — дело очень важное. Пока же он сообщил что у Венглера месяца три назад умерла жена и тогда он составил завещание, касающееся Опарова, а вчера похоронили самого Венглера; завещание должно быть теперь вскрыто.

У себя в кабинете, наедине, нотариус показал это завещание, — оно было сделано по всем требованиям закона на гербовой бумаге с подписями свидетелей. Все свое состояние, ценность которого не была обозначена, но по словам нотариуса очень значительное, Венглер завещал своей внебрачной дочери Валерии Рискалиной, а до ее совершеннолетия опекуном назначался Платон Опаров и было оговорено что как он будет распоряжаться имуществом до совершеннолетия наследницы, — не подлежит никакому контролю. Завещатель всецело полагается на уменье и добрую волю опекуна и уверен что все будет сделано в интересах Валерии, а если бы даже оказались потери, то это никак не может быть поставлено в вину опекуну даже самой наследницей. Нотариус пояснил что эти уточнения выходили из норм, принятых для духовного завещания, и когда завещание составлялось он предлагал Венглеру исключить их, но тот настоял на своем.

Опаров был поражен, но тут же понял что руководило Венглером. После совершённых преступлений, чувствуя приближение смерти, Венглер решил как своего рода искупление завещать все дочери человека, которому дал обещание, не выполнил его и еще хотел убить другого. На вопрос не вступятся ли какие-нибудь родственники покойного, оспаривая такое необычное завещание, нотариус ответил что завещание вполне законно и у Венглера никаких родственников не осталось, его единственный сын был убит на войне.

Явной выдумкой было что Валерия его незаконная дочь. Венглер выдумал это чтобы придать бóльшую логич-

ность своему необычному завещанию и до известной степени затуманить причины убийства, совершённого отцом Валерии.

Венглер умело выбрал нотариуса, это был уже совсем пожилой человек, известный в Берлине, его клиентами были крупные банки и акционерные общества, он много зарабатывал, не стеснялся брать большие гонорары, даже сверх нормы, но зато считался исключительно надежным и взявши большой гонорар действительно служил интересам клиента; в его конторе работало десятка два человек, в том числе и адвокаты.

«А сколько лет этой наследнице моего клиента?» спросил нотариус.

«Валерии Рискалиной шестнадцать лет, она живет у меня и она стала мне близким человеком».

«Это не обязательно, но я хотел бы все-таки ее увидеть, может быть вы будете любезны завтра приехать с нею», и сделавши нарочно или случайно маленькую паузу, старый нотариус вынул из несгораемого шкафа пакет, запечатанный сургучными печатями, и стал осторожно разрезать его.

«На этом пакете, как вы видите, написано рукой покойного чтобы он был вскрыт мною только после его смерти и непременно в вашем присутствии. Я только приблизительно знаю что в пакете между прочим ключ от сейфа и еще маленький конвертик, в котором указаны цифры, на какие заперт сейф. Я полагаю что значительная часть состояния Венглера в виде драгоценностей находится в этом сейфе, и чтобы было меньше наследственных пошлин он передает его вам тайно от фиска. Если бы этот сейф был в Германии, мне неудобно было бы стать посредником в этом деле, но сейф в Швейцарии, и я не обязан знать что в этом пакете».

В пакете кроме ключа от сейфа и запечатанного конвертика с цифрами была доверенность на имя Опарова вскрыть этот сейф в одном из банков Базеля. Нотариус еще пояснил что подобная доверенность в некоторых государствах считалась бы недействительной после смерти

доверителя, но по германским и швейцарским законам она остается в силе и после смерти доверителя, если в ней есть оговорка об этом. «И вы можете вступить во владение сейфом немедленно, до введения в права наследства», добавил он.

* * *

Вернувшись в контору Опаров сказал Мисси чтобы она телефонировала к нему домой, вызвала кухарку фрау Ромель и сказала ей что он с важным гостем будет сегодня завтракать вопреки обыкновению дома, а затем позвал Валерию и тихонько сказал ей, что надо ехать сейчас домой, важное дело. Он хотел уже по дороге рассказать ей об этом наследстве, готов был уже заговорить, но ничего не сказал, не мог представить себе как отнесется Валерия к этому неожиданному богатству, ему стало жутко от мысли что она сразу изменит отношение к нему когда почувствует себя самостоятельной и даже богатой. Так до дому он ничего и не сказал.

Никакого гостя не было и не предполагалось, завтракали вдвоем с Валерией. Когда звонила по телефону Мисси и разговаривала с фрау Ромель, Прасковья уже сообразила что совсем тут не гость — никогда раньше не бывало, чтобы о завтраке говорили не с нею, а прямо с кухаркой. Она старалась догадаться в чем дело, и когда сели за стол поняла что ничего плохого не случилось, а скорее хорошее, к вечеру узнает.

После завтрака, опять совсем неожиданно, Опаров велел позвать в столовую фрау Ромель. Старая повариха немка исправно приходила каждый день готовить, но он редко завтракал или обедал дома и она, печально вздыхая, обижаясь, чтобы занять свободное время пекла какие-то замысловатые печенья. Она особенно гордилась уменьем делать разные украшения на тортах, например домик когда посылали кому-нибудь на новоселье, или даже рог изобилия на свадьбу или именины. Бывало мало новоселий или

свадеб, но фрау Ромель иногда говорила что вот тут в соседней вилле, где очень любят Опарова и постоянно спрашивают о его здоровье, будет свадьба дочери — и он соглашался что нужно послать им торт. Из того что пекли дома безо всяких особенных случаев, немного съедали Валерия и Прасковья, очень любившие сладкое, а остальное пополам поступало Писанке и самой фрау Ромель для ее внука. Опаров иногда видел эти печенья и чтобы доставить удовольствие старой стряпухе съедал кусочек и очень хвалил, ему нравился такой домашний обиход.

Изредка случалось что он сам шел на кухню и что-нибудь заказывал, но звать кухарку в столовую было совсем необычно. Фрау Ромель быстро надела чистый передник, у зеркальца поправила седые волосы и пришла, она волновалась.

«Не беспокойтесь, фрау Ромель, ничего плохого, а наоборот хорошее. Испеките сегодня к вечеру два торта, самых лучших, сегодня фрейлейн Валерии шестнадцать лет... Один торт для нее, а другой возьмите себе, у вас ведь есть внук?»

«Да, у меня есть только внук, было у меня два сына, оба убиты на войне», уже плача ответила фрау Ромель и стала вытирать глаза передником.

И Валерия и Прасковья с удивлением посмотрели на Опарова, когда он сказал что сегодня день рождения Валерии.

Фрау Ромель была очень довольна разговором, несмотря на слезы. Для нее не было большего удовольствия как печь торты.

• • •

«У тебя есть что-нибудь розовенькое, как тот старенький халатик, в котором ты спасла мне жизнь?.. Может быть там в шкафах нашлось еще что-нибудь розовенькое».

«Розовенькое? У меня есть еще только розовенький шарфик», несколько удивленно ответила Валерия, улыба-

ясь, видя что он в хорошем настроении и в воздухе что-то неожиданное, вероятно приятное, но он пока молчит.

«Так надень этот шарфик на голову и поедем кататься на лодке на Шлахтензее».

Это было уже совсем удивительно, за все время ни разу в лодке не катались, никогда он этого не предлагал.

Поехали на автомобиле к Шлахтензее, там взяли лодку, он сел на весла, выехали на середину озера, и все еще не объяснял в чем дело, почему такая странная программа делового дня. Круто повернул лодку к берегу на другой стороне, с шуршанием врезались в береговую осоку, лодка остановилась, он сложил весла. Теперь Валерия не выдержала, вскочила с места на корме, подошла к нему и обняла; лодка сильно покачнулась.

«Тише, милая девочка, упадешь в воду и утонешь».

«Не утону, я хорошо плаваю», ответила она и стала рассказывать где и как она выучилась плавать. В Шотландии, когда они жили на берегу моря. «Папа всегда говорил что надо все уметь, но больше всего надо уметь располагать к себе людей и знать языки, а все остальные знания придут сами собой» — это она рассказывала уже не в первый раз.

Он улыбаясь слушал, все еще не решаясь начать свой такой важный разговор. Для того и поехали на озеро, и в чем-нибудь розовеньком, тут была самая подходящая обстановка, тут он когда-то встречался со своей покойной женой, тут он сидел на берегу в день бомбы и смотрел на эту девушку в розовом с пожилым директором; теперь он был уверен что это был директор какого-то предприятия.

До сих пор Валерия не знала подробностей, связанных с самоубийством отца, не вполне понимала его отношения к Венглеру и к убитому им человеку, только догадывалась. Теперь необходимо было все рассказать, завтра нужно ехать к нотариусу, там будет прочитано завещание, в котором она названа внебрачной дочерью Венглера. Это ее смутит и удивит, надо все ей объяснить, а чтобы объяснить нужно все рассказать — Валерия уже не ребенок, она умная, от нее ничего не скроешь, да и зачем скрывать.

И он начал рассказывать, с того дня как ее отец пришел в контору, и даже еще о петербургских встречах с ним. Валерия поймет что она теперь обеспечена и даже богата... Какое впечатление произведет на нее весь рассказ — не только интересно, но важно и для него самого. Валерия стала ему близким человеком, других близких у него нет во всем мире — были раньше: одни оказались временными, другие стали чужими, даже врагами, третьих уже нет на свете.

Старался говорить спокойно, но внутренне волновался — как она все это примет?

Уже в начале рассказа Валерия быстро встала со скамейки, вплотную придвинулась к нему, опустилась на деревянную решетку на дне лодки, положила голову ему на колени и крепко сжала его руку, и так ее не выпускала пока он говорил. Розовый шарфик на голове развязался, волосы рассыпались и золотыми прядками падали ему на колени, а он другой свободной рукой осторожно перебирал их.

Валерия тихо плакала, но когда он кончил свой длинный рассказ, она подняла голову и прошептала:

«Папочка отдал свою жизнь за меня, и вы сами были на волосок от смерти вмешавшись в эту трагедию, из трагедии получилось для меня счастье. Не эти деньги, но вы мое счастье, я хотела бы чтобы и вы были счастливы со мной... Папа постоянно учил меня располагать к себе людей, но он тоже говорил что это не значит всех любить, он говорил что любовь опасное чувство, заставляет страдать за того кого любишь... До встречи с вами я любила только его, а теперь люблю только вас, единственного в мире человека, и никого больше никогда любить не буду».

Он уже привык к тому что эта девочка говорила как совсем взрослый вдумчивый человек, а не подросток. Одинокая жизнь с отцом среди чужих людей должна была оказать на нее такое влияние, и все-таки он удивлялся ее словам, в них была или действительно искренняя любовь, или такое уже опытное, умудренное двуличие, какое свойственно только редким людям, всю жизнь прожившим в

скрытой лжи. Тут этого не может быть, Валерия говорит искренне, она так думает, она его любит, а он?..

• • •

Утверждение в правах наследства могло затянуться надолго, на месяцы, а то и на годы, если появятся какие-то наследники и станут оспаривать завещание и предъявлять свои права. А этот пакет с доверенностью и с ключом от сейфа в базельском банке не требовал никаких формальностей, о нем никто не знал, все в полной тайне. Знал еще кто-нибудь или не знал, или мог догадываться, но чем быстрее ликвидировать этот сейф — тем вернее. Это хорошо понимал Опаров, много трудностей переживший, выходивший не раз из очень сложных положений, а в данном случае он считал что и у Валерии, и у него есть какое-то право на это имущество, и так хотел завещатель.

Через несколько дней он вылетел в Базель с тем чтобы назавтра вернуться домой. По доверенности Венглера его без всяких затруднений допустили к сейфу. В большой подземной кладовой сопровождавший его банковский чиновник указал сейф, спросил знает ли он цифровой шифр и ушел. Открыв сейф Опаров был поражен количеством драгоценностей, среди которых было два ожерелья из крупных бриллиантов, нитки жемчуга, несколько серег с крупными камнями, два браслета и еще много других мелких ювелирных вещиц. Все это лежало кучей без футляров, некоторые вещи даже спутались одна с другой. Его взгляд привлекло кольцо с каким-то зеленоватым камнем, он вынул его. В кладовой было довольно темно, она освещалась только одной лампочкой в потолке. Взял из кармана электрический фонарик чтобы лучше рассмотреть кольцо, почему-то именно оно его заинтересовало. Он понимал толк в камнях и сразу определил что это превосходный редкий александрит, каратов десять. Он когда-то интересовался александритами и кошачьим глазом, они были у него в России, но остались в сейфе банка и безвозвратно пропали.

Машинально он сунул александрит в жилетный карман, на несколько секунд задумался что делать со всем остальным, вдруг решил — все рассовал по карманам, оставил совсем пустой сейф, снова замкнул его на те же цифры, взял в дирекции обратно свою доверенность и ушел из банка.

Уже на улице, ощупывая в оттопыренных карманах эти драгоценности, волей судеб попавшие к нему, он удивлялся что в сейфе не оказалось ни одной бумажки, никакого документа или письма, никаких ценных бумаг, только эти безымянные драгоценности, неведомо кому когда-то принадлежавшие. И как будто ничего из этих драгоценностей Венглер не брал, чего-то ждал или боялся, и так они там лежали сколько-то лет, а их настоящая владелица умерла, и теперь они оказываются собственностью Валерии и его, так как Валерия тоже уже его... Что эта случайно встретившаяся на его жизненном пути девочка уже его жена, в этом не было для него больше сомнений. Вот еще несколько месяцев, полгода, и она станет его законной женой, а в действительности она уже его жена.

С первым же поездом Опаров поехал в Берн, там в большом банке нанял сейф на свое имя и на имя своей жены Валерии, и сложил туда все драгоценности, не решив еще что делать с ними дальше.

На следующий день к обеду он был дома, рассказал все Валерии, отдал ей кольцо с александритом.

«Ты знаешь, Валерия, так на глаз там по крайней мере на триста тысяч марок, вероятно больше, и это все твое, моя милая».

Хотя он и привык что Валерия всегда как-то слишком спокойно относилась ко всему, без возбуждения, без особой печали или радости, но тут он все-таки удивился как безучастно она приняла его рассказ об этих драгоценностях, только кольцо с александритом она долго вертела в руках и примеряла то на один, то на другой палец.

«Ты знаешь, Валерия, это самый удивительный камень какой существует в природе, по твердости он почти равен бриллианту, но дело не в этом, о нем много написа-

но легендарного и мистического, у него исключительный дар — днем он зеленый, а ночью красный. В молодости я интересовался драгоценными камнями, читал о них, ходил по музеям, но такого большого и живого александрита не видел никогда. Я очень высоко ценю умных и ярких людей, а вот в мертвой природе драгоценные камни тоже выделены из всего остального тусклого и серенького, почему-то выделены самой природой, и потому я так ими интересовался».

Валерия внимательно слушала, опять вертела в руках кольцо, но как будто не решивши на какую руку и на какой палец его надеть, пошла в свою комнату и положила на туалетный столик.

* * *

Ночью Опаров услышал что Валерия встала и ходит по своей комнате. Тихонько подошел через ванную к двери ее спальни — теперь уже она спала в комнате покойной жены — совсем бесшумно, так что Валерия не слышала или была в полусне. Она стояла у окна в белой ночной рубашке, но казалась голубой в лунном свете, луна ярко светила в окно; она рассматривала кольцо, то надевая его на палец, то снимая.

«Валерия, почему ты не спишь, что ты делаешь?» шопотом спросил он.

«Я смотрю какого он цвета при лунном свете», как будто в полном сознании ответила Валерия. Он обнял ее, поцеловал, уложил в постель, она не сопротивлялась, как будто этого хотела.

«Это удивительное кольцо, это волшебный камень, он мне очень нравится», тихо говорила Валерия, крепко сжимая его руку.

«Теперь оно кровяного цвета, ведь папа, милый папа убил человека и убил себя, чтобы это кольцо попало ко мне... милый папа, он для меня все это сделал, но ведь убийство, кровь... я не знаю, я люблю это кольцо и боюсь его».

«Это удивительный камень, редкостный, и он принадлежит тебе по всем правам и законам человеческим и божеским, носи его не снимая и будем радоваться жизни».

Он до сих пор не верил что она лунатик, и стараясь изучить этот вопрос, неясно представлял себе что это такое лунатики или сомнамбулы, ведь это уже психическое расстройство. Он не видел никакой психической ненормальности в Валерии и иногда спрашивал себя что такое психическая ненормальность или вернее что такое нормальность, может быть это самое скучное и бездарное.

Сидя на постели стал тихонько рассказывать об удивительных камнях, в которых как будто есть какая-то жизненная сила, с которыми иногда связывается судьба людей, и одни камни приносят несчастье, а другие дают успех в жизни, и овладеть таким камнем большая удача: он как джин в арабской сказке о лампе Аладина может выполнять любые желания и защищать от врагов...

Он понимал что такой разговор, точно фельетон о драгоценных камнях, совсем не подходит для ночного разговора на кровати, но нарочно его продолжал, хотел отвлечь мысли Валерии от трагедии отца. Почти уже год они живут вместе, но ее внутренний мир так мало известен ему: утром в контору, или оба или один; вечером за обедом, уже несколько усталые от рабочего дня; разговоры о том что было в конторе, или иногда что-то из вечерних газет, изредка театр или кинематограф, и при этом всегда больше он говорит, он дает тему разговора, а она только внимательно слушает и редко сама начинает о чем-либо говорить или задает какие-нибудь вопросы.

«Вот ты знаешь, есть такой камень «мун-стон», лунный камень, не очень красивый, но с ним почему-то англичане связывают какую-то таинственную силу и есть известный роман Коллинса об этом камне, ставший классическим в английской литературе. Похожий на лунный камень но красивее его, с таинственными переливами, опал, у нас русских почему-то считается несчастным камнем, а у других народов его считают приносящим счастье... Знаешь бирюзу, голубенький камень, особенно любимый на Востоке, у

нас тоже многие его ценили и у меня был приятель, очень культурный человек, которому мать в детстве надела на палец бирюзовое колечко и он никогда его не снимал, кольцо вросло в палец и его нельзя уже было снять не распиливши, но он об этом и не помышлял, считая что было бы несчастьем потерять этот амулет. Будто бы бирюза бледнеет когда человеку грозит беда или болезнь, и бирюза знает это заранее, и надо сейчас же принять какие-то меры...»

Она внимательно слушала что он говорил, как будто следила за движением его губ чтобы еще яснее понимать, все крепче сжимала его руку, еще больше прижалась к нему, но время от времени смотрела на лунную полосу на ковре. Он крепко обнял ее.

«Камни мертвые минералы, но трудно провести границу где кончается мертвое и начинается живое, или еще страннее и непонятнее грань, когда сегодня живое завтра становится мертвым... Милая моя девочка, ничего не бойся, будем радоваться жизни как можем, тайны ее мы не знаем и никто не знает, а этот твой александрит удивительный камень, гений среди камней».

* * *

Лунная полоса на ковре уже сдвинулась, потускнела и вдруг совсем потухла, туча закрыла луну и вдали послышался гром. Еще вечером по радио говорили что ночью будет дождь, дует западный ветер с Атлантического океана, что редко бывало в Берлине.

«Мне страшно, милый», тихо сказала Валерия и прижалась к нему.

«Ты боишься грозы?»

«Нет, грозы я не боюсь, но мне страшно почему-то, это мысль о прошлом, мне жутко, не уходите...»

Он завернул ее в легкую пуховую перинку и перенес в свою спальню. Валерия спокойно заснула.

Приподнявшись тихонько на подушке он долго прислушивался как она дышит, дыхание было ровное, спокойное, отодвинулся чтобы ее не разбудить, но сам долго не мог заснуть, не мог отделаться от мыслей, заполнявших голову: тут был и Венглер с его наследством, и таинственный александрит, и вся прошлая тревожная жизнь, и дыхание Валерии. Он думал уже не в первый раз как важен в жизни случай и старался определить почему и как таким случаем оказалась Валерия, и что этот случай сулит.

Она уже крепко спала, а он тихонько нагнулся к ее груди и считал сердечные удары, и считая их думал о своем сердце, думал о том, что вот его сердце отбивает уже второй миллиард ударов, а у Валерии только первый; какой удивительный аппарат наше сердце: никакая машина ни из какого материала не выдержит такой работы — два миллиарда ударов, а может еще отбить и третий миллиард — сколько ударов каждому записано в книге бытия...

Наконец и сам заснул, заснул без всяких снов, что бывало редко. Когда по ночам мучили неразрешимые вопросы, даже просто какая-нибудь математическая задача, сон приходил после того как находилось решение, и теперь заснул таким сном, точно что-то решил.

* * *

В это время в Берлин приехала небольшая советская труппа молодых физкультурников. Она называлась «Синяя блуза», выступала в одном из небольших театров.

Берлинские газеты поместили ряд заметок об этой труппе. Одна газета написала что зрелище не очень веселое, но оригинальное, подобраны хорошо сложенные и даже красивые люди, молодые парни и девицы, вероятно Советы хотели показать какая у них здоровая и красивая молодежь, ловкая и элегантная, и что вот коммунистический строй воспитывает таких людей.

Опаров решил посмотреть эту советскую труппу, и с Валерией поехали вечером в театр. В труппе было человек

шестнадцать. Особенно выделялась одна красивая девица в первой паре, блондинка, стройная и самоуверенная, эта самоуверенность точно написана была на ее лице. На нее он сразу обратил внимание и с удивлением заметил что она похожа на Валерию: красивее, черты лица более правильные, но совсем Валерия. Об этом сходстве он мог судить больше чем сама Валерия, человеку трудно судить самому кто на него похож, со стороны виднее, но и Валерия согласилась что эта артистка похожа на нее. Чем больше присматривался к ней, тем больше являлась уверенность что это какая-то родственница Валерии, было несомненно что-то общее в чертах лица, даже в движениях.

«Она могла бы быть твоей сестрой, я был бы уверен в этом, если бы не знал что у тебя нет сестры...»

«Моя сестра Ада была убита тогда на границе, у меня нет сестры», не совсем уверенно ответила Валерия. «А вдруг она не убита, вдруг это Ада?.. Я ведь ее совсем не помню, мне тогда шел всего третий год, она на семь лет старше меня... я и мамы почти не помню. Покойный папочка всегда говорил что они обе погибли при переходе границы, были убиты, и за тринадцать лет мы не имели от них никаких известий. Как это удивительно что там точно совсем другой мир, с которым нет сношений...»

И совсем непонятно почему у Опарова явилось желание узнать кто эта артистка, как ее фамилия, имеет ли она какое-либо отношение к Валерии. Узнать было трудно, фамилии многих советских людей выдуманы, боялись своих прежних, а проникнуть в гостиницу, где жила эта труппа тоже было не просто. Как всегда артистов охраняли от общения с эмигрантами, могущими оказать разлагающее влияние.

Утром в конторе он сказал Мисси чтобы она приехала к нему вечером на виллу. Мисси опять была очень встревожена этим распоряжением. Когда она приехала, заперся с нею в кабинете и сказал что поручает ей узнать под какой фамилией выступает эта красивая артистка в труппе «Синяя блуза». Сначала надо узнать в какой они гостинице, это легко сделать в театре, а затем попробовать расспро-

сить швейцара и в крайнем случае самой как-нибудь проникнуть в гостиницу. Ей немке сделать это легче чем кому-либо, охрана труппы не заподозрит ее, но хуже если эта артистка не говорит по-немецки, как тогда Мисси с ней сговорится?

Мисси успокоилась и была очень довольна таким поручением, в нем было что-то авантюрное, вполне в ее вкусе.

«Если она похожа на фрейлейн Валерию, я ее легко узнаю, и если швейцар ничего не скажет, я под каким-нибудь предлогом пройду в гостиницу с черного хода» — сразу составила план Мисси.

• • •

Через день, еще во время утреннего кофе, Мисси позвонила по телефону и рассказала что ей удалось в театре узнать адрес гостиницы, но швейцар коммунист сразу же насторожился и никаких сведений ей не дал. Она проникла в гостиницу черным ходом, встретила какую-то знакомую женщину, служащую там уборщицей, дала ей три марки, взяла у нее передник и наколку, и со щеткой для натирки полов смело прошла в коридор. Никто ее не остановил и тут же в коридоре увидела Аду, сразу узнала ее, такое было сходство с сестрой; заговорила с ней по-немецки, и оказалось что та свободно объясняется на этом языке. Мисси успела только сказать ей что тут в Берлине ее сестра Валерия. Ада была очень удивлена, сразу не поверила, но потом обрадовалась и спросила адрес сестры. Заранее на бумажке Мисси написала адрес и успела сунуть эту бумажку Аде, и как раз во-время, в коридоре появился какой-то мужчина, вероятно один из охранителей труппы, Ада отскочила от нее. Мисси поняла что разговаривать больше нельзя.

Предпринимать ли что-либо дальше Опаров не решил и даже у него вновь появилось сомнение зачем он наводил

все эти справки и зачем Мисси дала адрес без его распоряжения.

Дальше случилось совсем неожиданное. Уже в десятом часу вечера к вилле подъехало такси и из него вышла Ада, вошла в сад, позвонила в подъезде и сказала Прасковье, отворившей дверь, что она сестра Валерии и нужно заплатить за такси, а у нее денег нет. Прасковья была поражена, она никогда не слышала что у Валерии есть сестра, и захлопнула дверь, но пошла доложить что вот там какая-то молодая женщина, называет себя сестрой, впустить ли ее? Опаров был удивлен таким неожиданным посещением, но сразу же догадался кто это. Аду впустили, за такси заплатили. Она вошла в кабинет:

«Где Валерия?» было первыми ее словами. «А кто вы?» совсем неделикатно обратилась она к Опарову. Тот ничего не ответил, хотя это ему очень не понравилось, сразу подумал о комсомольском воспитании. Вошла Валерия и остановилась в нерешимости, глядя на Аду и все еще не веря что это ее сестра. Ада обняла ее, поцеловала каким-то слишком энергичным поцелуем, и нисколько не конфузясь стала рассказывать.

«Как хорошо что ты жива, а я ведь была уверена все эти годы что ты и папа убиты... А где папа?» И Ада вопросительно посмотрела на Опарова.

Он молча наблюдал эту сцену и все больше удивлялся развязности Ады. Уже сидя в кресле она продолжала:

«Я убежала из нашей труппы когда входили в театр с актерского подъезда, я приостановилась, они все вошли, а я выскочила, взяла такси и приехала сюда... Воображаю какой там теперь переполох, как они будут давать спектакль без меня... Я так старалась попасть в эту труппу чтобы уехать за границу, все время мечтала вырваться из нашего марксистского рая, хотела тут это сделать уже три дня назад, но не знала куда мне деваться, денег нет, никого в Берлине не знаю, и вдруг такая удача — здесь моя сестра!»

«Значит вы стали невозвращенкой?» прервал Опаров.

«Как это называется мне все равно, в труппу я не вернусь и обратно в Москву не поеду и ловить меня тут они не будут, было бы слишком скандально».

Опаров все больше удивлялся, Ада не повторила даже вопроса об отце и не спросила кто он и как его зовут. Валерия молча стояла возле него и до сих пор не произнесла ни одного слова, точно она испугалась этого наскока, все еще не верила что это ее сестра, хотя в этом уже не было никакого сомнения.

Был уже одиннадцатый час, Ада приехала как к себе домой и не было иного решения как оставить ее ночевать. Она была красивее Валерии и это сначала даже не понравилось Опарову. В жизни у него было много романов — и длительных и совсем коротких, и никогда его не привлекали особенно красивые женщины, а только миловидные, симпатичные и умненькие.

Одно было в Аде для него привлекательно: она так же как и Валерия не была прикрашена и подделана, как девицы современного Берлина, на ней не видно было не только румян но даже пудры или губной помады, не успела еще воспринять эти черты западной культуры. Он вовсе не считал идеалом женщины тургеневскую барышню или смолянку прошлого века, но естественная красота молодости была ему особенно привлекательна.

• • •

Опаров родился на северном Урале, на его сибирском склоне, в раскольничьей купеческой семье поморского толка. Его предки были люди мало образованные, но твердые в своих убеждениях, надежные, слово считали сильнее всяких договоров. Как у сибирской лиственницы древесина была тяжелая, крепкая, смолистая, трудно поддавалась обработке и со временем становилась еще прочнее, и даже в сыром месте не подвергалась гниению. Ценились старинные иконы и старинные книги, из светской литературы бы-

ли книги по истории, их только читали, в газеты редко заглядывали. Постились все посты, а среды и пятницы круглый год. Дед ходил всегда в азяме, а отец уже надевал азям только во время молитвы, женщины покрывали голову темным платком. Семейный строй был крепок, но жизнь была довольно скучная. Всячески избегали военной службы — зверей можно убивать, а человека нельзя...

Восемнадцати лет он успешно окончил гимназию в одном из сибирских городов, одно время дружил в старших классах с сыном сосланного за восстание поляка, но его революционными взглядами не проникся, ни в каких политических кружках не состоял, однако стремление к знаниям и к культуре у него всё нарастало. На естественном факультете Московского университета он сблизился с несколькими молодыми людьми, воображавшими себя эстетами и декадентами, но тоже не поддался их влиянию, хотя что-то от этого осталось. Не хотел оставаться в толпе, не хотел идти за кем-то, а стать самим собой, оригинальным и независимым. Стремился попасть в Петербург, так как там легче и скорее люди выдвигаются, и попавши туда быстро освоился со столичными условиями жизни и способами наживы, всегда помня дедушкины слова:

«У кого настоящие миллионы — тому лучше прибедняться, а пока только тысченки — старайся казаться богатым: с богатым охотнее дела делают и их уважают». И на первые же деньги Опаров купил небольшую виллу на Островах, недалеко от Елагинского дворца, когда-то это называлось дачей, а теперь виллами. Успешно повел свои сначала маленькие дела, на вилле создал необычную обстановку начитавшись Гюисманса. Тут охотно бывали и женщины, вполне приличные и с неустойчивым равновесием, и из каждой хотя бы и недолгой связи он стремился сделать что-то нешаблонное. В результате же все было и обычно и шаблонно и стоило дорого, а деньги надо было еще зарабатывать. В одном он был действительно оригинален — не переваривал раскрашенных женщин, в мужской компании он не раз говорил об этом:

«Теперь к женщинам, к их лицу прикасаться нельзя, или крем сотрешь, или тебя раскрасят губной помадой, а не дай Бог прическу тронешь, которую только что хитроумно устроил парикмахер. Насколько лучше татуировка индейцев или готтентотов, раз навсегда сделано, не стирается, как угодно трогай, и к ней привыкнуть можно. Какой-то парикмахер Жан или Пьер приказывает вдруг обстригать волосы или отпускать челку, или брови переносить на другое место, и женщины охотно подчиняются — так нужно...»

Иногда такие разговоры Опаров вел и с женщинами, с некоторыми из-за этого ссорился, а на других все же несколько влиял, и иногда благодаря этому создавалась более продолжительная связь или хотя бы дружба, если она скреплялась какими-нибудь общими интересами, а иногда и деньгами.

* * *

Ада водворилась наверху, в прежней спальне Валерии.

Назавтра вечером, когда вернулись из конторы, уже в передней Прасковья рассказала что Ада перерыла все шкафы в комнате Валерии и выбрала там себе какое-то платье, примеряла его, оно оказалось немного коротко и она просила удлинить юбку, но Прасковья возмущенно отказалась, сказала что не умеет шить.

Она уже поверила что это действительно сестра Валерии, которую считали умершей, а она чудом спаслась, но почему-то сразу почувствовала к ней неприязнь, а то что она была красивее Валерии только усиливало это чувство.

Но все равно Ада в доме, и с этим приходится считаться, сколько это продолжится — пока неизвестно. Опаров решил дружески с ней разговаривать, она может много интересного рассказать о жизни в Советской России, своих намерениях, вообще о своем мировоззрении, созданном комсомольским воспитанием. И действительно все что

говорила Ада было красочно и неожиданно. Она считала вполне нормальным что приехала без спросу и тут поселилась, не думала даже извиняться за беспокойство и назойливость, — иначе и быть не может, и только повторяла что очень удачно что тут в Берлине оказалась сестра, а то куда бы ей деваться первое время.

«Почему вы так стремились остаться здесь за границей? Почему вам не нравилось в Москве? Ведь вы там прожили тринадцать лет, должны были привыкнуть».

«Почему я хотела вырваться? Я годами думала как вырваться из этого рая для нищих, я не хотела быть нищей, я хочу быть богатой и свободной. А там живи как приказано, иначе выведут в расход... Эта муравьиная религия мне не подходит. Всех загнали в людскую и даже остатков с барского стола нет...

Я была ранена, когда хотели перейти границу, нога долго болела, потом была беспризорной. Меня на каждом шагу попрекали моим буржуазным происхождением. Я хотела его скрыть, но все выдал этот молитвенник...»

«Какой молитвенник?» тихо спросила Валерия — а Ада все время говорила громко.

«Ты не можешь помнить, тебе тогда шел только третий год». И Ада рассказала об этом молитвеннике.

Она рассказала как ее раненую в финском лесу доставили наконец в какую-то больницу, рану залечили, рана в бедре очень болела, но кость не была затронута. Хотя ей было тогда всего одиннадцать лет, но она понимала что теперь буржуев уничтожают, знала что отец был когда-то офицером, сын помещика, дворянин. Никаких документов на ней не было, она хотела скрыть свое происхождение, даже фамилию, но молитвенник все выдал. У нее на груди нашли маленький молитвенник в мягком кожаном переплете со стершимися уже золотыми буквами и на внутренней стороне переплета было написано:

Моей духовной дочери Ольге Рискалиной.

Да поможет тебе Господь на твоем жизненном пути.

Эту книжечку в замшевом мешочке мать надела ей на шею когда готовились бежать. В больнице молитвенник

отняли. Этот материнский молитвенник являлся обличителем, и когда зачислили ее в пионерки, и тут постоянно ставили на вид ее непролетарское происхождение, относились подозрительно, доносили на нее, выдумывали ложные обвинения.

Она была красивая девочка и тут принял в ней участие какой-то большевик, несомненно чекист, приставленный для наблюдения.

«Я ему нравилась, он не раз говорил это наедине, и благодаря ему меня наконец зачислили в комсомол, а сам он куда-то исчез и позже рассказывали что он сослан и может быть расстрелян...»

Презирала и ненавидела своих товарок, бурлило и клокотало внутри, но подлаживалась, двуличничала, старалась быть настоящей комсомолкой, выдвинуться. Когда была беспризорной, в Ленинграде был голод и сотни беспризорных обоего пола посадили в товарные нетопленные вагоны и отправили в Пермскую губернию, там будто была какая-то еда.

«Мы девчонки в отрепьях ходили по деревням и выпрашивали съестное, тут же были и беспризорные мальчишки, они лучше освоились, и когда крестьяне перестали давать, устроили несколько поджогов, сначала стога и скирды жгли, а потом и дома, и мы тоже стали намекать, кое-что и нам давали».

Ада оборвала на полуфразе, встала и уверенно вышла в столовую, отворила там нижнюю дверку буфета, что-то налила в стакан, выпила и вернулась в кабинет. Несмотря на эту решительность и как будто неожиданность, в ее походке было изящество и плавность, шагов не слышно было на ковре, но когда она ступила и на паркет столовой, тоже не было стука каблуков. Он всегда обращал внимание на походку людей и по ней делал какие-то выводы, особенно о женщинах. Когда обувь тяжелая и неуклюжая, походка неизбежно выходит какой-то коровистой, очевидно у Ады уже были заграничные башмаки с тонкой эластичной подошвой, а может быть им еще в Москве дали для сцены такие. Тогда, в первую встречу с Валерией, ког-

да она неведомая девочка неожиданно пришла к нему в контору, он тоже обратил внимание на ее походку, запомнил ее, но у Ады походка была еще изящнее, и позже выяснилось что с семилетнего возраста, когда отец много тратил денег, у нее был учитель танцев из императорского балета. Это тоже оставило след, несмотря на годы, прожитые при советской власти, когда обувь была дубовая, не располагающая к изяществу походки, но ей тут помогли занятия физкультурой, а кроме того первые годы она часто ходила без обуви, даже старых калош не было — а нога лучше всего формируется или в мягком башмаке, или просто босиком.

* * *

За один день жизни на вилле Ада уже хорошо знала весь домашний распорядок, где что и как. Когда она отворяла буфет и звенела там бутылками и стаканами, Валерия удивленно посмотрела на Опарова, оба улыбнулись, но не сказали ни слова.

Ада продолжала:

«У вас тут и джин и виски сколько угодно, а у нас это можно получить только на валюту или за бриллианты».

«А разве комсомольцам и тем более физкультурникам можно пить алкоголь?» спросил Опаров.

«Мне можно все что я хочу», уверенно ответила Ада, и он готов был оборвать ее, фраза была на языке, но промолчал, интересно было послушать что она еще скажет; а там видно будет.

У него нарастала неприязнь к Аде, она до сих пор даже не поинтересовалась кто же он такой, почему с ним Валерия — как будто ей это было совершенно безразлично, точно и тут нет никаких собственников и хозяев.

Ада часто улыбалась, даже при самых неожиданных и резких фразах, в полную противоположность Валерии, которая редко смеялась, а в последнее время стала больше смеяться и это радовало Опарова.

Как-то позже, несколько дней спустя, зашел разговор об улыбке и смехе, и Ада рассказывала что она там все время старалась улыбаться — хочется финский нож всадить в спину, но надо для этого улыбаться — вернее выйдет.

«Уже у меня были призы по физкультуре, а жили в комнатушке вчетвером, одна сцепщица, пропитанная смазочным маслом, другая бетонщица, а четвертая маляр и от нее всегда краской разило. Окаянная жизнь, и наконец я вырвалась из нее...»

«Рассказывайте дальше», сказал он почти приказательным тоном, нарочно так чтобы сбить ее апломб и самоуверенность.

Он сидел на диване, что было необычно, рядом стояла Валерия, прислонившись к его руке, свесившейся через локотник, и крепко сжимала её.

Его коробила самоуверенность Ады, и в то же время эта красивая девушка с золотисто-рыжеватыми волосами, с ее прошлым и теперешним, с ее решительностью и самоуверенностью, становилась интересной, хотелось ее слушать дальше, что она еще скажет из воспринятого там, в совсем иной среде, совсем русской, родной ему когда-то, а теперь чужой.

Ада охотно продолжала:

«Рассказывать много можно, без конца, в нашей тамошней жизни много такого чего вам тут буржуям и не снилось».

«Нам не во сне, а наяву многое известно что там у вас», вставил Опаров, а Ада посмотрела на него каким-то загадочным взглядом, точно хотела сказать что-то чего нельзя сказать при Валерии.

«Одно время меня дояркой сделали, опять послали на север, какой-то там колхоз устроили и меня записали дояркой. Я решила что надо выделиться, тогда фотографию в каком-нибудь журнале напечатают и может быть представится случай улизнуть. Я подливала в подойник воду, но коровам моим жилось хорошо, в пять часов утра вставала кормить их и поить, даже скребком вычесывала. Не-

далеко было богатое дворянское поместье, уже разграбленное, владельцы или бежали или их убили, кто-то бродил там по дому и рассказывал что не все еще разграблено, какие-то сундуки остались, и само начальство сказало нам что можем там взять все что хотим. Оказалось много всякой одежды, особенно платьев, все разобрали, но мне досталось только кружевное бальное платье, ничего теплого мне не дали, потому что я не пролетарка, и так я долго зимой ходила в этом кружевном платье под армяком и отрывала то один то другой кусок кружев чтобы не цеплялось...

«Недели три я доила коров, противное занятие, хоть у меня был рекорд — мои шесть коров давали молока сверх нормы, но поняла что может выйти большая каверза если догадаются, нарочно расцарапала себе палец гвоздем, натерла купоросом, рука распухла. Фельдшер говорил что руку отрезать придется, и меня отправили обратно в Ленинград. Чтобы вырваться надо заслужить доверие, чем-то проявить себя и я старалась. В ячейке просила чтобы мое буржуазное имя и фамилию изменили, чтобы я была не Ада, а Октябрина или Энгельсина и чтобы фамилию Рискалина изменить в Расколина. Расколину я выдумала от раскольников, что-то бунтарское как Пугачев, а главное мне очень понравилась Ларисса Раскольникова...»

«Вы знали жену Раскольникова?» спросил Опаров.

«Да, я ее видела на Каме, красивая и чертовски смелая, ее боялись даже герои революции — матросы. Она тогда была начальницей речного флота, замечательная женщина...

«Один такой матрос пристал ко мне, всегда пьяный и наглый, носил в кармане бриллианты, вынимал тайком и показывал, и говорил что все мне отдаст если стану его женой. Никакой его женой я стать не собиралась, оскорбительна и отвратительна была такая мысль, а он все приставал и как-то сказал что или я буду его или меня совсем не будет. Я решила вывести его в расход и вывела...»

Все время молчавшая Валерия тут спросила:

«Что это значит вывела в расход? Я не понимаю что ты говоришь».

«А вот когда деньги тратят, это значит что их выводят в расход, и в предприятиях есть бухгалтерия, в книгах записано как и на что деньги истрачены, а иначе под суд. Но для человеческой жизни у нас бухгалтерии не было и ее выводят в расход без записи. Так и с этим матросом было. Плывет по Каме какое-то тело — выведен в расход и никому это не интересно. Чека тысячи людей в расход выводила и никто не спрашивал куда человек девался: много станешь спрашивать — можешь и сам исчезнуть. Он забыл что я физкультурница и у меня мускулы не хуже его, и я не пьяная, и весло у меня в руке».

Опаров не задал больше никакого вопроса, но про себя решил вернуться позже к этому разговору о матросе: значит она его убила и пустила по Каме. Видимо так же думала и Валерия, тоже ничего не спросила, а Ада продолжала. Опаров пропустил часть рассказа.

* * *

Вдруг отчетливо вспомнился почти забытый кусочек прошлого. Вспомнилась Ларисса, и сейчас только пришло в сознание что она тоже как-то связана с Рискалиным, отцом Валерии и Ады, с него началось.

Сидели тогда с ним за завтраком у «Медведя», мимо проходил бравый пожилой полковник, и Рискалин пригласил его подсесть: платить за завтрак будет понятно Опаров, но пригласил Рискалин; так бывало в Петербурге — одни платили за других, другие всегда ожидали что за них заплатят. Опаров относился к первому разряду. Этого полковника знал весь Петербург, у него было золотое оружие за какую-то авантюру в Китае, его имя было связано с рядом романических приключений. Опаров почти ничего не пил, нужно было ехать в контору продолжать дела, а собеседники не отказывались ни от вин, ни от коньяку. Полковник вдруг в конце завтрака предложил ему:

«Хотите я вас познакомлю с самой интересной барышней какая есть в Петербурге?» и пояснил что это очень красивая девица, только что кончила гимназию, дочка профессора, очень любит развлечения, к тому же поэтесса. «Боюсь только, что увлечетесь, голову вам вскружит, автомобиль ей подарите». Предложил хоть сейчас устроить свидание, но он сказал что свободен только вечером и было условлено что в субботу приедет часов в восемь к полковнику и там уже будет эта барышня. Так и случилось.

Полковник жил за городом при большом доме тоже полковника, кавказского, еще более известного в Петербурге, у того была беговая конюшня, его иногда видели в городе на рысаке, всегда с очень хорошенькой молодой женщиной. Никто не знал откуда у него большие средства, ходили по Петербургу самые фантастические слухи.

Полковник с золотым оружием жил в отдельном павильоне, в кабинете все стены были покрыты фотографиями женщин, многие с надписями, обстановка совсем необычная. Ларисса была уже здесь и сразу ему понравилась — красивая, элегантная, с уверенными изящными движениями. Уже в двенадцатом часу он отвез ее в автомобиле домой, обещала приехать к нему на виллу и через два или три дня действительно приехала. Ларисса читала иногда свои стихотворения, называла их акмеистическими, стихотворения ему не нравились, но Ларисса нравилась все больше.

Под Новый год у него на вилле было несколько приятелей и две артистки, одна драматическая, другая опереточная. Он не любил шумных встреч Нового года в дорогих ресторанах; когда было возможно приглашал несколько человек к себе, а то встречал Новый год вдвоем с той женщиной, которая была теперь близка. Уже в первом часу ночи горничная принесла записочку карандашом на клочке бумаги:

Я с компанией моих друзей поэтов на тройке у Ваших ворот, у нас нет денег чтобы купить еще шампанского, вышлите бутылку.

Ларисса.

Он выслал две бутылки шампанского, но не пригласил всю компанию к себе, опасался ревности артистки, с которой уже был роман, и не хотел чтобы Ларисса ее увидела.

Потом при встрече как-то объяснил Лариссе почему не пригласил тогда всех, она не обиделась, встречи продолжались. Шла война, война не мешала веселью Петербурга, к ночи дорогие рестораны были переполнены, трудно было получить отдельный кабинет. Эта обстановка ночных ресторанов нравилась Лариссе, несколько раз бывали вместе, как будто она не старалась привлекать к себе, но к ней влекло, в ней была какая-то загадочность, иногда казалось даже трагичность — и так продолжалось до самой революции. На второй или третий день революции встревоженный, избегавший обычно толпы, теперь он отправился туда где была толпа, по соседству на Крестовский остров. Громили полицейский участок, убили двух жандармов, из разбитых окон второго этажа на улицу выкидывали пачки бумаг, мебель, какую-то одежду. Среди улицы горел уже костер, сверху лежала шинель пристава, она плохо горела; какая-то молодая красивая женщина подошла к костру и стала палкой подкидывать шинель чтобы она лучше горела. Удивленный, сперва подумал что обознался, он узнал Лариссу; на голове у нее был какой-то потертый нянькин платок, в руках старая корзинка для провизии и палка. Он долго смотрел на нее, поразило это превращение. Наконец Ларисса отошла от костра, он приблизился к ней, вместо приветствия она сказала только два слова:

«Прошлое умерло», и замешалась в толпу...

Это была последняя встреча с Лариссой, но теперь после стольких лет она точно стояла перед ним, и не такая как у костра, а прежняя, красивая и загадочная.

* * *

Прошло уже несколько месяцев как Ада поселилась в доме Опарова, и каждый день возникал вопрос и у него

самого и у Валерии, и даже у Прасковьи — как же будет дальше? когда она уедет и куда? что она будет делать тут за границей? да и паспорта у нее еще никакого не было, только временное свидетельство, а сама Ада ничем не выражала желания уехать. Так день проходил за днем. Валерия молчаливо задавала этот вопрос Опарову, он это ясно понимал, хотя она об этом прямо не говорила. Он видел что между сестрами не только не создается взаимного понимания и симпатии, а наоборот: Валерия все больше тяготится присутствием сестры, а сестра разговаривает с ней иронично и свысока, как с девочкой.

Ада все время просила денег, и Опаров давал то сто, то двести марок. Как то она попросила денег и у Валерии, но та ответила что все деньги у Платона Григорьевича, у нее только на мелкие расходы, и ничего не дала. Когда он узнал об этом разговоре, был даже удивлен таким решительным отказом Валерии и еще яснее стало что между сестрами накипает рознь и даже враждебность. Он не спрашивал на что Ада тратит деньги, она каждый день уезжала из дому и иногда поздно возвращалась, но не так поздно чтобы это казалось странным, несомненно бывала в кинематографах и в театрах. Он как-то сказал ей что позже одиннадцати возвращаться нельзя, но и тут не допрашивал ее где, с кем и как она проводит время, и вообще что она делает в Берлине. Несомненно было что довольно много она истратила на одежду; теперь она была одета элегантно и со вкусом, не заразилась слишком модным, но видимо покупала или заказывала в лучших магазинах. Она стала еще привлекательнее по внешности в этой красивой оболочке, но по-прежнему, на что особенное внимание обращал Опаров, лицо ее не было раскрашено или подведено, осталась та же прическа с пробором, совсем не последний крик парижско-берлинской моды, но видимо от хорошего бриллиантина ее и раньше красивые волосы стали теперь блестящими и в то же время оставались естественными, собственного цвета.

Он понимал почему нарастает эта рознь между сестрами и не видел выхода из положения, не мог еще реши-

тельно сказать Аде чтобы она уехала. Куда она могла уехать! Но суть была не только в том куда она могла уехать, он ловил себя на мысли что и сам не хочет чтобы она уезжала.

* * *

Со старым нотариусом создались кроме деловых почти дружеские отношения. Валерия уже тоже несколько раз виделась с ним, и нотариус всегда очень тепло и ласково с нею разговаривал, она ему нравилась; о гонораре Опаров не только никогда не спорил, а даже увеличивал счета нотариуса и тот не отказывался. Утверждение завещания было уже закончено, Валерия стала владелицей имущества, оставленного ей Венглером, никакие наследники не вступились, близких родственников у Венглера не было, а как будто странное добавление в завещании что Валерия его незаконная дочь — этот чистейший вымысел — делало завещание вполне логичным и естественным. Валерия была уже богата: кроме драгоценностей, хранившихся в Швейцарии, имущество Венглера оценивалось приблизительно в миллион марок, настоящих тогдашних золотых марок.

Валерия Рискалина была теперь женой Опарова. Ей не хватало года для замужества по германским законам, но нотариус сумел обойти это препятствие, в документах был добавлен год.

После русской революции с документами русских было много затруднений и иногда таинственных изменений: метрических свидетельств не было, достать их было нельзя, церковные и консисторские записи были уничтожены при грабежах и разрушениях церквей, дату рождения нередко устанавливали по показаниям свидетелей и лжесвитеделей, и здесь была полная возможность кое-что изменить в ту или иную сторону, сделать старше или моложе, даже совсем менять фамилии. Появилось много новых графов и князей, и этих самозванцев очень хорошо знали более пожилые эмигранты, но для других новоиспеченные титуло-

ванные были настоящими и могли даже выгодно вступать в браки с богатыми американками, всегда падкими на титулы.

* * *

Выяснилось что Ада уже знакома с Мисси. Когда Опаров об этом узнал он ничего не сказал Аде, но вызвал Мисси для разговора наедине, напомнил ей о прошлых разговорах и еще раз подтвердил, что она обязана рассказывать ему обо всем, творящемся в конторе в его отсутствие, и теперь о своем общении с Адой. Он чувствовал что Мисси по-прежнему стремится стать его любовницей, она уже не раз уверяла его в своей любви. В ее любовь он не верил, Мисси нисколько его не привлекала, но что у нее была мысль о близости с ним, не сомневался: Мисси знала что у него и у Валерии большие средства, а у Ады ничего нет, для нее деньги были выше всех любовных чувств, а надежды на сближение со своим директором теперь, когда рядом еще такая привлекательная и красивая сестра, еще меньше; может быть в ее интересах разжигать взаимную неприязнь сестер, может быть даже повести к какой-нибудь катастрофе. Нисколько не стесняясь он высказал все это Мисси и в конце добавил:

«Как бы вы там ко мне ни относились, чем бы вы ни руководились, единственное выгодное для вас — быть искренней и правдивой со мной, на этом вы не проиграете, а всякая утайка или двуличие свернет вам шею».

Мисси опять, как тот раз на вилле, вытирала надушенным платочком слезы и снова клялась в преданности и любви, клялась что никогда не совершит ничего что было бы против него, и обещала точно все рассказывать и о том что делается в конторе тайком от него, и что делает в Берлине Ада. Между прочим рассказала что Ада просила у нее адрес хорошего адвоката, адрес театральных бюро, и что она указала ей очень хорошего портного, который брал все-таки дешевле дорогих домов, а шил еще лучше их.

«Вы же сами видите как она хорошо теперь одета и все это за полцены», добавила Мисси и даже тронула Опарова: он разрешил ей заказать себе костюм у этого портного, а счет прислать ему.

* * *

Разговаривать с Адой наедине удавалось редко, всегда была рядом Валерия, а при ней Ада говорила совсем иначе. Эти разговоры наедине бывали только мельком, всего несколько фраз, и в этих фразах всегда звучало совсем иное, чем то что говорилось в присутствии Валерии. Ему и хотелось говорить с Адой и в то же время он избегал этих разговоров, во всяком случае Валерия не должна знать о них, ей это будет неприятно, а ничего неприятного делать ей он не хочет, она самый близкий ему человек.

В один из коротких разговоров Ада успела сказать:

«У вас тут жизнь совсем другая, лучше и приятнее, там чертовски скучная и безличная, с единственной надеждой стать в будущем государственным пенсионером в доме с коммунальной столовой, — муравьем в муравейнике, но там можно как-то пробиваться самоуверенностью и двуличием, а тут нужны только деньги, деньги, и только деньги могут дать здесь joy of life, как вы сказали когда-то. Я во много мест уже обращалась чтобы получить службу, но предлагают какие-то гроши и смотрят на мордочку и на фигуру, и сразу же дают понять что Америку уже сами выдумали, ничего нового я не предложу. В театральных и кинематографических конторах откровенно спрашивали стоит ли за мной кто-то богатый, могу ли я на свой счет шить костюмы, есть ли у меня ювелирные драгоценности, могу ли платить за рекламу».

Как-то вечером, когда вернулись из конторы и Ада приехала из города, не сказавши где она была, сидели в кабинете, и в разговоре, глядя на Валерию, Ада сказала:

«Ты вот как-то говорила что я злая, хотела бы я видеть какой бы ты стала на моем месте. Ты все время за

чьей-то спиной жила, то у отца, который был твоим заступником и руководителем, а потом Платон Григорьевич создал твою благополучную жизнь за своей спиной, а я сама за себя отвечала среди завистников и врагов, сама должна была бороться и вылезать. Всякий на моем месте обозлился бы, никому нельзя было верить, кругом доносчики, сплошь игра, ни одного откровенного слова».

И Опарову и Валерии эти фразы были неприятны, и в то же время в них была правда, и оба ничего не возразили, однако опять холодом повеяло от этих слов, холодом и рознью; между сестрами всё нарастает неприязнь, Валерия чувствует себя оскорбленной отношением сестры, хотя и не говорит этого.

* * *

Уже недели две как Валерия стала чувствовать себя плохо — слабость, головокружение, боли в руках, и вдруг совсем неожиданно, никогда этого раньше не бывало, острые боли в желудке и в правой части живота. Был приглашен знакомый врач, выслушал, осмотрел, сказал что нужно сделать какие-то анализы, но и после анализов ничего определенного сказать не мог; боли обострились и было решено отвезти Валерию в клинику, несмотря на протесты Опарова — он всегда боялся больниц точно каторжной тюрьмы или дома сумасшедших. Но и второй знаменитый терапевт, приглашенный для консилиума, настаивал, и Валерию отвезли в лучшую в Берлине клинику. А она сама не высказывала ни протеста, ни желания, как будто хотела молчаливо подчиниться решению мужа. Нужно непременно сделать еще разные анализы и снимки, электрокардиальные записи, они покажут что может быть необходима операция, а чем раньше операция тем лучше — захватить процесс в начале. Опаров готов был ответить отказом на все эти докторские требования, вопросительно смотрел на Валерию и все-таки не решился принять на себя такую страшную ответственность за жизнь близкого существа.

Уже пятый день Валерия была в клинике, при ней постоянно дежурили сиделки и почти все время врач, давали какие-то лекарства, рецепты просматривал Опаров и качал головой, но не решался возражать. Ей стало лучше, боли прекратились, было решено что операция не нужна. Назавтра она должна была вернуться домой.

Он ежедневно бывал у нее в клинике и утром и вечером. Сегодня, усталый после всяких конторских затруднений и переговоров, просидел в клинике до девяти часов когда посетителям нужно было уходить.

Теперь был и второй автомобиль и шофер, для того чтобы Валерия могла пользоваться автомобилем когда хотела для разъездов по городу; хотела пользоваться автомобилем и Ада, но Опаров под разными предлогами все время ей в этом отказывал. Она явно была недовольна и в то же время как будто с ним соглашалась, как будто давала понять что на него не может сердиться. Еще так недавно несдержанная на слова и выражения, тут она была сдержанна, точно проверяла каждое свое слово, хотела чтобы понимали что-то написанное между строк.

• • •

Он вышел из клиники в хорошем настроении, радовался что все обошлось, что завтра Валерия будет дома, и в то же время почувствовал себя очень усталым и нервным от переживаний последних недель, от конторских дел, которые становились все труднее и труднее и нарастала мысль об их ликвидации, от печального настроения Валерии, от присутствия Ады, которая все больше не нравилась Валерии, а он не решался удалить ее из дому. Ловил себя на мысли что эта красивая и энергичная но злая девушка внесла какую-то новую струю в его жизнь, и жизнь станет скучнее если она уйдет. А как уладить, как примирить непримиримое, не знал. Ему захотелось некоторого опьянения — выпить что ли полбутылки шампанского, но дома

нельзя, там Ада, придется и ей предложить, а шампанское часто рождает неожиданности; там всевидящая Прасковья, непременно потом все расскажет Валерии. Решил поехать в какое-нибудь варьете, где есть музыка, где что-то представляют на сцене, отгоняют мысли. Подумал о театре «Скала» — там всегда разнообразная программа, и между номеров по авансцене проходит хорошенькая немочка с цифрой следующего номера, но там нет столиков, — и поехал в «Винтергартен», там также большая программа и есть столики где можно спросить бутылку шампанского, всегда много народу, громкая музыка. Сел за столик у самой сцены, спросил бутылку замороженного шампанского, при этом французского а не немецкого, хотя французское стоило очень дорого, какую-то холодную закуску; выпил большой стакан и стал смотреть на сцену. Два жонглера показывали чудеса эквилибристики, разные предметы им подавала хорошенькая девочка, напоминавшая Мисси, но он почему-то вспомнил другую, которая несколько лет назад танцевала здесь танец лошадки: в амазонке, с хлыстиком бегала и прыгала по сцене и казалась необычайно изящной и привлекательной. Он тогда даже захотел познакомиться с ней, кто-то это знакомство устроил и она пригласила его к себе. Оказалось что у нее роскошная квартира, с большими бронзовыми клетками для птиц, синяя гостиная с причудливыми резными колоннами, таинственный свет через цветные рисунчатые стекла окон, точно в готическом храме; но здесь в этой обстановке, вблизи она показалась ему совсем не такой интересной как на сцене и вовсе не привлекательной, и на этом знакомство кончилось...

На сцене шли еще другие номера, он думал выпить только полбутылки шампанского, но незаметно выпил почти всю и уехал домой. Было уже около полуночи.

Посидевши несколько минут в кабинете, еще и еще думая о создавшейся обстановке, решил идти спать. И ждал, и боялся что в кабинет войдет Ада, от Прасковьи знал что она дома, но Ада не пришла.

* * *

Где-то вдали громыхал гром, несколько раз блеснула молния, надвигалась гроза. Он задернул тяжелые плюшевые портьеры спальни и сразу крепко заснул как давно не засыпал. Последнее время была бессонница и не знал как бороться с ней. Никак нельзя было отогнать мысли о делах, хотел их отбросить, убеждая себя что все это не важно, не нужно, пусть все эти дела сквозь землю провалятся, лишь бы спокойно жить и спать по ночам — но мысли оставались, не уходили, сон не приходил. Валерия тоже плохо спала, а недавно в полную луну вышла тихонько в рубашке босиком в сад, и там ее увидел Писанка и прибежал сообщить. Ему раз навсегда было приказано не трогать лунатика, с ним надо уметь обращаться, а оказывалось что Валерия остается лунатичкой: он думал что это уже прошло теперь, а вот повторилось. И мысли о лунатизме Валерии, ее бессонница и все бóльшие затруднения в делах так нервно настраивали что заснуть было невозможно.

А в эту ночь, может быть от сознания что болезнь Валерии не опасна, что завтра она будет дома, и от создавшегося уже решения ликвидировать дела, уехать отсюда, а еще больше от выпитого шампанского и утомления за день, он необычно крепко заснул.

Вдруг он почувствовал что как будто теплая рука осторожно прикоснулась к его лицу, вздрогнул, сразу пришел в сознание:

«Кто это?» быстро высвободил из-под одеяла руку и схватил чью-то другую.

«Кто это?»

«Это я, Ада... Я давно хотела это сделать, я должна так сделать, я так хочу... у меня никогда не было любовника, но я буду вашей любовницей, я так хочу, так надо...»

Ада обхватила его голову, поцеловала каким-то жгучим поцелуем, откинула край одеяла и легла на постель вплотную к нему. На ней была только тонкая шелковая рубашка, он узнал ее духи, которыми она душилась по-

следнее время, он чувствовал теплоту ее тела, ощущал ее горячее дыхание, слышал как упали на коврик около постели ее легкие туфельки; ее теплая ступня коснулась его ноги, его рука оказалась на ее упругой обнаженной груди...

Все это было в полной темноте, ни один луч света не проникал через тяжелые портьеры, слышны были удаляющиеся раскаты затихающей грозы.

Прошло сколько-то часов, в щелку между раздвинувшимися портьерами пробивался луч утреннего солнца. Ада все еще не уходила и почти никаких слов не было сказано ни им ни ею. Оказалось что рядом на кресле лежит ее легкий халатик, и когда она накинула его и надевши туфельки уходила к себе наверх он сказал только одну фразу:

«Не называй меня на ты при Валерии, будь осторожна... а там видно будет».

* * *

Валерия вернулась из клиники. Не потребовалось даже амбулаторной кареты, просто в своем автомобиле в сопровождении доктора, никаких болей уже не было, но врачи решительно приказали три дня не выходить из дому и по возможности больше лежать после впрыскиваний, диеты, анализов и рентгеновских снимков. Домашний врач выслушивал сдержанные но иронические высказывания Опарова о том что эти докторские исследования нередко и создают болезнь там где ее не было, не надо было вовсе клиники, но дружески уверял что это было необходимо и вдруг решил намекнуть что хотя точно болезнь Валерии установлена не была, но несомненно отравление и даже откуда-то попал мышьяк.

Уже третий день Валерия не выезжала из дому, и несмотря на свои иронические замечания — почему именно три дня, а не два или четыре ей нужно сидеть дома — Опаров согласился с мнением врачей. Пусть на них будет ответственность, хотя какая у них ответственность, бол-

тают что угодно с авторитетным видом, но так и нужно врачу, а то если он не будет давать твердых предписаний пациенты перестанут его уважать и разбегутся — так он думал, а в то же время ловил себя на мысли что как бы складывает с себя ответственность: вдруг опять здоровье Валерии ухудшится.

* * *

Ликвидировать контору и вообще все дела, закончить все расчеты, все перевести в наличные деньги... но надо это делать незаметно для окружающих, особенно для служащих. Выдаст всем трехмесячный оклад и дело оставит в собственность служащим, оно представляет ценность, имеется большой деловой опыт, установились связи, но сумеют ли они вести дальше контору — это уже их забота. Про себя он был почти уверен что без него дело завянет, он всегда верил в значение личности, индивидуальной воли и инициативы, она была всегда у него, и потому дело шло и все развивалось. Все время нужно вносить что-то новое, все течет теперь быстро, условия меняются, а инициатива является и у других и нужно их перегонять своей, нельзя стоять на месте, даже удобном и прочном. Едва ли они окажутся пригодными, привыкли быть служащими и подчиняться распоряжениям, а не делать на свою ответственность.

При быстром заканчивании расчетов придется терять, но все же останется больше миллиона марок. И не только все ликвидировать здесь, но вообще никогда больше не заниматься делами, довольно разменивать душу на деньги.

Все непрочно теперь, нет былых гарантий и уверенности, может вдруг все пропасть как пропало в России, надо только радоваться что успел чем-то запастись, припрятать как можно вернее по разным странам и тратить эти деньги с толком: если будет опять война или революция в одной из стран, так в другой что-то останется; рассовать деньги по всем закоулкам мира — и при уменьи и осторожности можно заставить эти деньги работать; ког-

да деньги созданы они уже как какой-то раб работают на владельца. У Валерии свой капитал, им же созданный, она обеспечена, а у Ады ничего нет кроме больших неопределенных желаний, но и она будет обеспечена.

Вспомнил свой отъезд из Петербурга. Еще месяца за три до февральской революции ясно понимал что нужно уезжать, все идет к развалу, а может быть к кровавой бане. Стал тогда все продавать, переводить деньги за границу, хотя это было уже трудно и рубль обесценился. Кое-что успел, но только маленькую часть удалось спасти; понимал что надо уезжать, но препятствием было присутствие двух женщин, не мог решить с которой уехать и как оставить другую если впереди кровавая баня. Теперь тоже были две женщины и они не мешали уехать, а наоборот, так именно и нужно: с одной уехать, а другая останется здесь, ей в ближайшее время ничего не грозит, она будет жить в вилле и у нее в распоряжении будет достаточно денег, Писанка останется управляющим. Уехать с Валерией, а Ада останется здесь. Прасковья ненавидит Аду и предана Валерии, она уедет с ними.

В библиотеке было много книг на разных языках «о мышлении» — как нужно думать, как должен думать культурный человек. Задавшись каким-то вопросом, что-то обсуждая или решая, нельзя позволять мысли куда-то отпрыгивать — так нужно думать, а большинство так не думает, у них или совсем нет мысли или мысль все время прыгает с одного на другое и основная до конца не доводится. В былое время, когда были мысли сплошь о делах, он так и думал, не позволял мысли шататься по сторонам, доводил ее до конца, до решения, а теперь и у него мысли прыгали — то Валерия и Ада, то куда запрятать имущество, и главное чем заполнить жизнь дальше, то опять воспоминания.

Воспоминания чаще всего нарушали течение мыслей. Подумал о германской инфляции, о берлинской жизни в этот период. Прежнее миллионное состояние обращалось в ничто, все считалось на миллиарды и сотни миллиардов, но за миллиард можно было купить только коробок спичек

или фунт колбасы. Теперь надвигается что-то тоже непонятное, может быть совсем иное, но чем скорее уехать тем лучше.

* * *

После ночи, проведенной с Адой, весь тот день когда вернулась Валерия, он был в каком-то опьянении и не от того шампанского что выпил накануне, совсем в другом опьянении. Уже много лет такого опьянения не бывало и его принесла Ада, эта быть может злая и страшная девушка, но вместе с тем такого сексуального экстаза он не переживал уже очень давно, удивлялся, не понимал; он был достаточно опытен в близости с женщинами, и было совсем необъяснимо откуда это у Ады. Ничего такого не было тогда когда ночью, может быть в припадке лунатизма, к нему в спальню пришла Валерия. Валерия теперь его жена, самый близкий ему человек, но Ада тоже вошла в его жизнь.

Теперь домой он приезжал рано, сегодня еще раньше закончил дела в конторе, наскоро продиктовал стенографистке несколько деловых писем чтобы переписала к утру, и поехал домой. Но столько еще не полностью разрешенных вопросов было в голове, не конторских деловых, а чисто личных и даже совсем отвлеченных, что по дороге вдруг решил опять поехать на Шлахтензее, где когда-то думал о Валерии, где потом в лодке разговаривал с нею. Точно на этом озере, вдали от шума большого города, мысли шли иначе, откровеннее не перед кем-нибудь, а перед самим собой. Хотел еще раз передумать и оправдать то что он сейчас делает, какие новые условия жизни создает себе, и не только себе, но и близким ему людям — двум женщинам и даже служащим конторы; он должен отвечать за то что делает и не у кого спрашивать совета. Впрочем к советам он всегда относился подозрительно, хотя этого и не говорил никому, выслушивал советы, но поступал посвоему. Перебирая в памяти прошлое вспомнил ряд случа-

ев, когда в трудных обстоятельствах ему что-то советовали, как будто умное и дружественное, но потом оказывалось что если бы послушался этих советов было бы много хуже и даже могло повести к катастрофе.

Он должен решить и сам должен за все отвечать. Не раз когда-то говорил что настоящими государственными людьми, от которых можно ожидать чего-то большого, могут быть только привыкшие что-то создавать и вести свои собственные предприятия, где не с кем советоваться. Так он не раз думал, но тут же понимал что он сам что-то совсем маленькое: выделился в своем семействе и только.

Вспомнился Муров, это был единственный случай когда он последовал чьему-то совету, может быть потому только что и сам так думал. Именно сейчас вспомнился Муров, в его жизни был тоже такой перелом, какой он сам теперь переживает. Уже давно нет никаких известий от него, неизвестно в какой он стране теперь, жив ли, ведь ему за восемьдесят.

Почти со школьной скамьи попавши в Петербург, с очень маленькими средствами, оставшимися от отца, Опаров встретился тогда впервые с Никодимом Муровым, вспомнил о нем хотя бы потому, что его имя было уже известно в Петербурге. Эту фамилию он не раз слышал дома, рассказывали как этот сибирский мальчик из семьи еще менее достаточной чем его собственная так быстро выдвинулся в столице, разбогател, и говорили что он богатеет день ото дня. Его не любили за его холодность и резкие суждения, но с ним уже считались.

Опаров поехал к нему надеясь что тот его примет по старым связям родителей, и тут не ошибся. Теперь уже пожилой и богатый, Муров отнесся к нему если не очень любезно, то как будто с интересом и сочувственно, долго его разглядывал, взвешивал фразы, которые осторожно говорил Опаров, и в результате принял в нем участие. У Мурова были теперь большие дела, между прочим контора по экспорту за границу сибирских мехов, асбеста и сибирского графита.

Видимо Мурову понравились некоторые фразы молодого Опарова, который говорил что он нигде не хочет служить, ни за что не станет чиновником, хочет начать свое какое-то дело, хотя бы маленькое, но на полную свою ответственность и на свой риск.

После недолгого разговора во вторую встречу, Муров неожиданно предложил ему поехать чем-то вроде контролера его дел в Сибири, познакомиться с управляющими по меховому делу и по ископаемым, проверить как они там работают, кто и сколько ворует, а главное какие изменения нужно внести в дело чтобы увеличить оборот. Опаров не колеблясь принял это поручение, месяца три ездил по Сибири и действительно изучал и наблюдал. Муров наставлял его что он должен действовать всецело по своему усмотрению, может даже уволить кого-нибудь или пригласить нового человека, если это будет полезно для дела.

Опаров отнесся к делам Мурова как к своим и даже как будто превысил данные ему полномочия, уволил несколько человек и пригласил новых, устроил еще два пункта для скупки мехов, вообще внес довольно решительные изменения, и быстро выяснилось, что его поездка принесла очень ценные результаты. Могло показаться даже странным и рискованным как этот молодой человек решался поступать так самовольно и уверенно, и тоже странным казалось, как этот опытный делец Муров позволил так распоряжаться новому человеку, тем более не специалисту ни по мехам, ни по ископаемым. В двух случаях Опаров обнаружил столь явное злоупотребление со стороны служащих Мурова, что их можно было предать суду, но он, не спрашивая даже телеграммой Мурова, в суд не обратился, заставил их во всем признаться и из этих признаний вывел в чем нужно изменить порядок, чтобы дальше воровства не было.

Так или иначе, ознакомившись со всем что сделал Опаров, прочтя его подробный доклад, Муров остался вполне доволен. Но Опаров не поступил к нему на службу, начал свое дело, так ему и Муров советовал, так и сказал что поверенный или приказчик не станет миллионером,

нужно свое дело, своя инициатива, свой ум, а не чужая указка, и как бы человек ни был честен и предан чужому делу, он никогда не проявит такой полной энергии и постоянной заботливости как в своем деле. С этого и начались петербургские дела Опарова. Отчасти подражая Мурову, но все время внося что-то свое, он тоже открыл экспортную контору и дело стало быстро развиваться.

Муров к этому времени уже начал ликвидировать свои дела и вдруг неожиданно куда-то уехал, долго отсутствовал, и Опаров не знал где он, даже не знал на каком континенте. Когда тот месяца через три вернулся, не рассказывал где он был, поинтересовался только как идет дело Опарова и вообще дружески с ним разговаривал. Личные отношения еще закрепились, несколько странные, необычные и совсем исключительные для Мурова, так как по общему мнению он никогда ни с кем не сходился; говорили даже что у него нет ни одного близкого человека, только завистники и враги, а если некоторые и выдавали себя за друзей, то только надеясь чем-то попользоваться от богатства Мурова. Муров это ясно понимал и как-то с усмешкой сказал одному из таких приятелей:

«Мой дядя постоянно говорил что если хочешь меду — ходи около пчел, а если хочешь денег — ходи около богатых».

Муров окончательно продал свои хорошо налаженные дела, выручил большую сумму и опять куда-то уехал. Изредка он присылал Опарову какую-то вырезку из газеты, то на английском, то на испанском языке с припиской двух-трех слов; а то и год проходил и неизвестно было где он сейчас находится. Когда встречались в Петербурге или потом в Берлине, после долгого промежутка, Муров начинал разговор так, как будто виделись только третьего дня, вскользь иногда рассказывал где он был за это время; из этих коротких рассказов было ясно, что он уже никакими коммерческими делами не занимался. Для Опарова встреча с ним была всегда интересна, всегда вносила какую-то новую свежую струйку в его мышление.

* * *

Опять как тогда оставил автомобиль у края дороги, спустился к самому берегу и нашел тот пенек, на котором сидел тогда. Никакой лодки не было на озере. Рядом были кусты ежевики, стал собирать черные ягоды, съедал одну за другой, не чувствуя их вкуса, не чувствовал что оцарапал руку — думал. Может быть впервые так определенно встал вопрос оправдана ли его жизнь, сделал ли он что-либо нужное и ценное для других, и вообще нужно ли, обязательно ли делать что-то для других, или только для себя.

Другие ему тоже ничего хорошего никогда не делали, часто даже мешали. Вот он навсегда заканчивает свои дела, дальше пойдет какая-то иная жизнь. Сумел создать себе эту возможность, есть достаточно денег и полная свобода решения, две случайные женщины, оказавшиеся на его пути, вполне обеспечены и могут дальше жить как хотят, и это он сделал для них; его сотрудники, служащие конторы, тоже жили несколько лет безбедно благодаря ему, он создал дело, без него им было бы хуже, и теперь ликвидируя дела он оставляет им возможность безбедного существования и даже больших заработков, если они сумеют работать так, как работал он...

Но главное, два самых близких существа — Валерия и Ада — они обеспечены, а как все устроится дальше — зависит и от них, не он создал их вражду, все так случилось само собой и даже больше по их воле чем по его, от них зависит что будет дальше.

Которую он любит больше, любит ли вообще — это такое растяжимое и неясное слово, за всю жизнь у него не было такой пылкой привязанности к женщине или стремления непременно обладать ею, чтобы мог перевернуть свою жизнь или кончить самоубийством, но близость с женщинами была одним из самых важных и ценных переживаний.

Когда Валерия в припадке лунатизма пришла тогда ночью к нему в спальню, была ли это любовь или только

лунатизм? Или может быть даже расчет, она ведь такая будто безвольная и тихая, но в тихой заводи черти водятся, и кто знает — она достигла своего, она стала обеспеченной женщиной, его женой, ее жизнь устроена и как будто все случилось само собой. Само собой и не само собой, ведь по его воле она оказалась у него на вилле и он вмешался в ее интересы, как оказалось очень рискуя, и даже понимал что рискует когда вмешивался.

А Ада, самовольная, привыкшая сама отвечать за себя, уже обдуманно, по своему желанию, пришла к нему ночью. Может быть потому, что ее комсомольская самоуверенность быстро получила тут несколько сильных щелчков, она почувствовала себя одинокой и беспомощной в этом новом для нее мире; в нем оказалось не все так приятно и заманчиво как казалось оттуда. Она сказала как-то в разговоре что хотела свободы и денег, и оказалось что деньги здесь достаются не каждому, разве по наследству легко, не всем остается наследство, их все меньше; а если его нет, то нужно чем-то выделиться, нужно много уменья и труда: одним подливанием воды в молоко стахановкой тут не станешь и в кинозвезды обычно проходят не через спальню тех к кому влечет, и нужны все-таки какие-то данные чтобы выделиться, они есть у одной из тысячи, и «ведеттами» становятся не зря.

Хотелось думать что Аду влекло к нему не только по расчету, но даже если и только расчет, не все ли равно, она дает такие переживания, каких не давала Валерия, покорная и послушная, напоминающая японку, которая по вековым японским уставам не должна проявлять своих чувств, а только подчиняться желаниям мужа или любовника.

Заметил что на левом рукаве пиджака движется выпуклое красное пятнышко, божья коровка.

«Вот-вот раскроет сейчас красные сургучные половинки и улетит, божьи коровки всегда неожиданно улетают... но все еще ползет вверх по моему рукаву и как раз по тонкой красной прожилке, из-за этих красных прожилок и заказал этот пиджак дорогому портному...»

Божья коровка отвлекла мысли об Аде и Валерии.

«Странная букашка и все почему-то ее любят, по-английски называется леди-бэрд — госпожа птичка, очень странно откуда это взялось, почему она птичка, ведь она жучок. А по-немецки мариенкефер, жучок Богородицы, это лучше английского, но тоже странно почему эта букашка нравится Богородице... А вот как по-французски забыл, спрошу Валерию, она наверно знает, все время роется в словарях...»

Внимательно следил за божьей коровкой, она ползла все выше и выше по рукаву все по красной полоске, и даже с волнением думал — улетит она сейчас или поползет еще дальше.

«Если не улетит, значит обе останутся».

И тут же поймал себя на мысли что стыдно так думать, точно старая нянька или ребенок — искать предсказаний в поведении букашки, и все-таки был доволен что божья коровка не улетела.

* * *

Посмотрел на часы и удивился как уже поздно, быстро пошел к автомобилю, и когда подъехал к вилле было уже совсем темно. Все-таки разглядел что Прасковья стоит в дальнем углу сада и разговаривает с Писанкой. Не окликнул их, отворил калитку и входную дверь своим ключом и как раз в этот момент раздался выстрел. Он бросился наверх и в верхней передней, откуда вела лестница на третий этаж, увидел Аду, сидевшую на последних ступеньках, она держалась левой рукой за балясину перил, а правой прикрывала грудь. В комнате было темно, но он все-таки заметил что на зеленой шелковой блузке с красными полосками одна из них стала широкой и бурой, текла кровь из-под руки Ады, которой она прикрывала левую часть груди. Рядом у кресла стояла Валерия, держась рукою за спинку, на сиденье блестел револьвер.

«Это ты стреляла? быстро обратился он к Валерии.

«Я».

Опаров нервным но уверенным движением выхватил из заднего кармана револьвер и выстрелил в стену напротив того места где полулежала на лестнице Ада; затем подбежал к Аде, отнял ее руку от груди, разорвал блузку, на белой рубашке было большое кровяное пятно. Совсем сорвал рукав блузки, ощупал спину, рука вся была в теплой крови, рана была навылет, слева выше груди. Бросился в ванную комнату, там в особом шкафике лежали бинты и всякие медикаменты, схватил все бинты какие были и стал бинтовать рану, сначала вокруг всей груди, потом через шею под мышку, один бинт, другой, еще третий...

«Что случилось?» тихо спросил, наклонившись совсем к ее губам. «Она стреляла?»

«Ты напрасно стрелял, это я сама», прошептала Ада. Она поняла почему он выстрелил — чтобы создать картину самозащиты. Поняла ли Валерия почему он стрелял, так и осталось навсегда невыясненным, сейчас она ничего больше не говорила об этом выстреле, а впоследствии он не хотел ее спрашивать, чтобы не напоминать еще раз об этой драме.

Дальше Ада не могла говорить или не хотела.

Он быстро растворил окно и громко крикнул в сад, чтобы слышали Прасковья и Писанка:

«Писанка, бегите скорей, тут за углом живет доктор, тот самый которому торт посылали, там у него медная табличка на двери, скорее, скажите что несчастный случай, сейчас же приведите его».

Ни Писанка, ни Прасковья еще не понимали что случилось, но случилось что-то страшное, они слышали оба выстрела, но не думали что это на вилле, а где-то по соседству. Писанка побежал исполнять поручение, а Прасковья старческим бегом направилась к дому, непривычно быстро поднялась по лестнице и остолбенела от того что увидела. Но бросилась не к Аде, а к Валерии, и Валерия в

это время как будто в полусознании или совсем без сознания опустилась в кресло и закрыла глаза.

«Господи помилуй, Господи помилуй, какая беда, что случилось?» Прасковья заплакала.

«Не плачьте Прасковья, слезы тут не помогут, нужно всегда думать что делаешь, а то вот выходит... Помогите мне Аду уложить на кушетку».

Он осторожно но решительно приподнял Аду со ступенек, она левой рукой ухватилась за его руку, и вместе с Прасковьей, поддерживая ее с обеих сторон, повели, почти понесли к кушетке в комнате Валерии.

«Ничего, я сама могу идти... пустяки, пройдет», тихо сказала Ада. Ее уложили на кушетку, она потеряла сознание. Через несколько минут пришел доктор, пощупал пульс, выслушал сердце.

«Кажется рана не серьезная, выше сердца, может быть верхушка легкого прострелена», сказал Опаров и добавил что может быть лучше не разбинтовывать рану, а то возобновится кровотечение.

Доктор согласился что не надо разбинтовывать, забинтовано хорошо, и не стал расспрашивать что случилось.

«Лерочка в обмороке... Лерочке помогите!» вдруг вскрикнула всхлипывая Прасковья, и доктор подошел к креслу где сидела Валерия. Тоже пощупал пульс, Опаров уже принес бутылку с нашатырным спиртом и одеколон. Валерия открыла глаза.

«Это я стреляла», сказала она, но он прервал:

«Она в полусознании, это недоразумение, несчастный случай. Пожалуйста доктор останьтесь у нас, если нужно послать за чем-нибудь то распорядитесь, но не уходите я сейчас позвоню нашему постоянному врачу... Мне кажется что все обойдется благополучно, рана несерьезная, пожалуйста останьтесь, не уходите».

Вызвал по телефону постоянного домашнего доктора, своего приятеля, просил немедленно приехать.

Приехал и этот врач и тоже сказал что разбинтовы-

вать не надо, пока только полный покой. Опаров попросил его остаться на всю ночь и врач охотно согласился.

Прасковья все время стояла около Валерии, подходила к кушетке, на которой лежала Ада, но сейчас же возвращалась к Валерии, тихонько гладила ее по голове, что-то шептала.

«Перестаньте плакать Прасковья, все обойдется... Вот болтать зря не надо», приказательным тоном сказал он. Прасковья замолкла, вытирая передником глаза. Поняла ли она о чем он говорил, о том что это она насплетничала Валерии об Аде, осталось неясным и никогда больше этот разговор не возобновлялся ни с нею ни с Валерией, но он был уверен что драма произошла из-за Прасковьиной болтовни.

* * *

Рана оказалась действительно не опасной, но все-таки понадобились рентгеновские снимки, была пробита лопатка, повреждено одно ребро и затронута верхушка левого легкого. Внутреннее кровоизлияние было небольшое, но необходимо термоэлектрическое лечение и полный покой. Врачи настаивали что для раненой нужно довольно продолжительное санаторное лечение и ее отправили в одну из лучших германских санаторий под Дрезденом на шесть недель.

Оттуда Ада звонила Опарову по телефону в контору, и Валерии он об этом не говорил, а сама она ни разу не поинтересовалась как здоровье сестры. Один раз он даже предложил Валерии поехать на день в санаторию навестить Аду, но она так отрицательно отнеслась к этому что больше такой разговор не возобновлялся, и стало ясно что чем реже будет упоминаться имя Ады, тем спокойнее будет для нее.

Тем временем шла ликвидация всех берлинских дел, не только его личных, но и имущества Валерии, полученного по завещанию Венглера. Месяца через два все уже было закончено, обращено в иностранные ценности и пе-

реведено в разные места за границу, и Опаров с Валерией и с ними Прасковья уехали в Париж. В берлинской вилле должна была поселиться Ада по возвращении из санатории. Писанка оставался управляющим и доверенным, и даже старая повариха тоже осталась на службе. За это время Писанка пополнел, отпустил бородку и совсем не был похож на прежнего захудалого Писанку с маленькими черными усиками, когда-то поселившегося на вилле ночным сторожем. Опаров проникался к нему доверием. После случая с бомбой он был очень смущен: как же это не укараулил — и потом долго по ночам обходил весь участок, или спрятавшись где-нибудь прислушивался не ходит ли кто по саду или около забора.

Почти каждого человека Опаров встречал с осторожностью и с недоверием, зная по семейным традициям и по собственному опыту что лучше сразу не верить и позже убедиться что напрасно не верил, а не наоборот: поверить в человека, а потом разочаровываться и сожалеть. Но когда он начинал верить человеку, то уже верил полностью, за это даже иногда упрекал себя: все-таки не надо было так верить — осторожность и доля недоверия или по крайней мере сомнения должна всегда оставаться. Но это правило он иногда нарушал, оправдываясь тем что скучно жить будет на свете если уж никому не верить.

* * *

Теперь жили в Париже, искали подходящую виллу в окрестностях. Много уже видели, но все были неподходящие. Опаров непременно хотел полной отделенности от соседей, чтобы не доходил шум граммофонов или радио, чтобы часами не кричали дети и чтобы перед окнами был открытый горизонт, а не соседние окна, в которых сушится белье, а в другое время живущие там ссорятся или подглядывают что делается напротив. При собственной вилле устранялся вопрос и о консьерже, этой замечательной организации Парижа, ведущей свое начало со времен

Фуше: в Париже консьерж или консьержка гораздо важнее владельца дома, они все знают, во все вмешиваются, все могут устроить и обо всем сообщают полиции.

Больше двух месяцев прожили в хорошем отеле и наконец нашли подходящее: старый дом с большим садом, спускающимся уступами к Сене. Когда-то это была богатая вилла со всякими затеями, в саду еще стояли два полуразвалившихся фонтана, несколько цоколей от каких-то статуй, большая мраморная ваза с козлиными головами — одна из них была давно отбита — от статуй не осталось даже и кусочка. Дом был старинной прочной постройки, с толстыми стенами, в некоторых комнатах остатки шелковой обивки, но все было запущено, ремонта давно не делалось, кое-что разворовали. Переехали из отеля в маленький павильон в углу сада и дом отделывали.

Удивляли парижские цены на недвижимость, они были гораздо выше берлинских. Так недавно немецкая марка ничего не стоила, а теперь она стояла твердо, свершилось чудо, она была как будто самой надежной валютой. Наживая деньги в России Опаров не был спекулянтом или биржевиком, никогда не играл на бирже вместе с так называемой широкой публикой, изредка только зарабатывал на каких-то бумагах, когда подсказывал приятель, старый банкир, вошедший в соглашение с другими банками для скупки данных акций; или еще был случай, когда знакомый министр за какое-то одолжение намекнул что на днях будет опубликован приказ по финансовому ведомству и это несомненно сразу поднимет какие-то акции. Опаров только немного знал политическую экономию и финансовое право, но ясно понимал что всякая бумажка, что бы на ней ни написано, какие бы на ней ни стояли подписи, завтра может стать ничтожной по приказу новой бумажки с другими подписями. Он знал и нашумевшую теорию Кейнса и даже рассуждения Ленина о том что когда восторжествует коммунизм, золотом будут мостить уборные, и много других экономических теорий, понимал что богатство государства заключается не в одном золотом запасе, а в торговом балансе.

Но бумажка остается бумажкой, ее ценность можно изменить любым декретом и даже совсем обесценить. Только золото у себя в кармане, или даже в земле, или еще где-то в месте, недоступном для министерского приказа, может быть несомненной ценностью. Со времени царя Монтезумы и Соломона и еще много раньше этот драгоценный металл, такой красивый, никогда не ржавеющий, был признаком богатства и его ценность не мог менять приказ правителей.

Он понимал что это как будто примитивное мышление, отстающее от века и новых условий жизни, и все-таки оставался в этом убеждении и все что можно менял на золото. Вексель частного лица иногда надежнее чем миллионы бумажек, подписанных государством: за неплатеж по векселю можно судить человека и что-то все-таки с него взыскать, а если государство отказывалось платить полностью по своим бумажкам, то нет суда, в который можно обратиться. А вот кусочек золота в кармане никакой подписью отменить нельзя, можно только расстрелять человека и отобрать у него золото, но это уже называлось разбоем, или вежливо революцией, против этого ничего не сделаешь, уходи только куда-нибудь подальше. Золото будет всегда ценимо, в нем не только настоящая ценность исключительного металла, к нему психическое влечение людей, созданное тысячелетиями, и никакими законами его нельзя вытравить.

Только тогда установятся настоящие спокойные денежные расчеты между людьми и государствами, когда вместо бумажек настоящих или фальшивых опять будут платить золотыми монетами, и так останется до скончания века. А в то что настанет такой райский период когда вообще не нужны будут деньги — он не верил.

* * *

Оказалось что за деньги можно сделать все и в Париже, несмотря на его техническую и санитарную отста-

лость, и даже скоро и хорошо: месяца через полтора все было готово.

Валерия все одобряла, как будто ей все нравилось, но особого удовольствия не проявляла, это удивляло и печалило Опарова. Был уже штат прислуги — повариха, горничная и шофер — и целые дни чем-то неведомым но очень важным занималась Прасковья. Теперь он почти ежедневно завтракал и обедал дома или вместе с Валерией в хорошем ресторане, почти каждый раз в новом, чтобы вполне ознакомиться с парижской жизнью. Тут было лучшее в мире вино и еще оставалась прежняя французская кулинария, хотя под влиянием нашествия туристов эта кулинария постепенно видоизменялась и делалась более выгодной для рестораторов, а не для желудков потребителей.

Он старался заинтересовать Валерию Парижем, его музеями, модными витринами, различными зрелищами; она всегда соглашалась с его планами, но сама не высказывала каких-нибудь определенных желаний. Даже парижские наряды ее не занимали, хотя и сшила кое-что у лучших портных по его настоянию, а из тех драгоценностей что были в бернском банке редко что надевала, только кольцо с александритом носила постоянно, и он не раз замечал, даже с некоторой тревогой, как она подолгу, особенно ночью, рассматривает этот странный камень при разном освещении, точно ищет в нем какую-то скрытую тайну.

Одновременно было получено два письма. Одно от Ады, другое от Мисси. Обе писали независимо одна от другой, и как будто даже не зная что другая тоже пишет. Мисси больше не работала в бывшей конторе Опарова, дело идет там плохо, новые владельцы перессорились, и Мисси хочет поступить на службу к Аде, быть ее компаньонкой и даже камеристкой, и Ада на это согласна, и вот об этом сообщали ему, как бы прося разрешения, хотя в действительности Мисси уже переехала на его берлинскую виллу. Опаров был удивлен, но находил логичное объяснение: Мисси во что бы то ни стало не хочет порывать связи с его семьей, а что касается Ады, то ей действитель-

но скучно одной жить на вилле; Мисси разбитная, умелая, услужливая когда хочет, знает вдоль и поперек весь Берлин, а денег теперь у Ады достаточно.

Назавтра было получено письмо и от Писанки, он сообщал что госпожа Мисса поселилась на вилле, приехала с двумя чемоданами, один большой, другой поменьше, «вероятно вы уже об этом осведомлены, однако долгом считаю сообщить». Письмо было написано как всегда тщательно, каллиграфическим почерком, и в конце уверенье в полной преданности и готовности служить по всем своим силам.

Опаров решил ничего не предпринимать, ждать что будет дальше, как они уживутся, что выйдет из этого сожительства. Этих писем он Валерии не показал, да она и не интересовалась, но содержание их передал и Валерия отнеслась безучастно к этим сообщениям.

* * *

Прошло месяца два или три. В газетах и по радио появилось сенсационное сообщение о переоценке американского доллара. До сих пор американский бумажный доллар стоил столько же сколько и золотой. Красивая двадцатидолларовая золотая монета расценивалась совершенно одинаково с бумажкой в двадцать долларов. Иногда даже приходилось платить премию чтобы дали бумажки, а не золотом: такой случай был с самим Опаровым в Гонолулу на Гаваях, когда он в местном банке поспорил с кассиром и тот в отместку дал ему два мешка золота вместо бумажек; он не знал куда спрятать это золото в отеле и когда назавтра пришел к тому же кассиру с просьбой все-таки поменять на бумажки, тот посчитал какие-то комиссионные за этот обмен. А теперь по росчерку президентского пера стоимость бумажки уменьшилась на 41% и двадцатидолларовая золотая монета стоила уже 35 бумажных долларов. Сразу даже не поверил этому сообщению, таким оно казалось немыслимым.

Когда он ликвидировал свои дела и Валерьино наследство, часть денег была помещена в долларах, счет был в швейцарском банке. Позвонил знакомому биржевику, потом в свой банк, и узнал что американский доллар, стоивший вчера 25 франков, сегодня уже котируется восемнадцать с чем-то и несомненно пойдет ниже. Надо было срочно что-то предпринять и он решил сегодня же выехать в Швейцарию. Предложил Валерии поехать вместе, но та не выразила желания, и он в тот же вечер уехал один в Берн, сказав что будет завтра оттуда телефонировать, может быть задержится там дня на два, не больше, постарается вернуться как можно скорее.

* * *

Уже после закрытия банков позвонил по телефону домой, но к его удивлению на звонок никто не ответил, так заявили на телефонной станции. Он потребовал вторичного соединения, но опять никто не ответил. Было совсем непонятно как это никто не подходит к телефону у него дома, может быть просто недоразумение, не по тому номеру звонили. Позже, уже часов в девять он опять заказал телефон с Парижем, даже срочный разговор за тройную плату; и на этот раз, уже к его полному изумлению и беспокойству, был тот же ответ что этот номер не отвечает.

Хотел сейчас же ехать на аэродром и лететь в Париж, но ночного аэроплана не оказалось и необходимо было еще раз, утром, побывать в банке чтобы подписать все сделанные распоряжения. Заказал место на аэроплане в час дня, в четыре будет в Париже.

Когда аэроплан поднимался с аэродрома была солнечная погода, никакого ветра. Первый час полета был при ясном небе, совсем спокойном, аэроплан не качало; впрочем качки он не боялся, но аэроплана вообще не любил, считал ненадежным: если катастрофа на железной дороге — будут раненые, кого-то убьет, но все-таки боль-

шинство уцелеет, и при морской катастрофе можно выплыть, а если в воздухе, то вместо только что живых и даже веселых людей — обугленные трупы.

Вопреки метеорологическим предсказаниям начался сильный ветер, почти буря, буря с грозой, аэроплан швыряло в стороны и сверху вниз, ослепительно блистала молния, казалось что ее огненные зигзаги вот-вот пробьют аэроплан и он загорится. Среди пассажиров началась почти паника, хотя порядок не нарушался и даже кто-то пробовал смеяться. Опаров всю жизнь старался убегать от мнимых преувеличенных страхов, но не любил грозы, на него действовала наэлектризованность воздуха и уже за часы до начала грозы он приходил в нервозное настроение, уверял себя что быть убитым молнией ничтожный шанс, не больше чем от упавшего на голову карниза или автомобильной катастрофы, и несмотря на эти подсчеты всегда нервничал во время грозы. При всякой яркой вспышке молнии и сильном ударе грома хватался рукой за что-нибудь деревянное, а не металлическое. Теперь в аэроплане, когда гроза продолжалась уже около часу, он нервничал, старался думать о доме, о том как встретит его Валерия, и помимо воли предполагал что-то неожиданное и неприятное: не ответили по телефону.

Много позже не раз думал об этой грозе, об этом как бы предчувствии, никак не соглашался что тогдашнее его настроение было каким-то предчувствием, всегда отрицал всякие предчувствия и предзнаменования, объяснял эту свою нервозность только грозой, наэлектризованностью атмосферы: если бы не было грозы, не было бы и никакого предчувствия, все равно его ожидало бы дома то же самое, была бы эта гроза или нет. То что случилось — случилось уже вчера, буря и гроза тут ни при чем. Если бы вообще существовало предчувствие, то оно должно было явиться еще накануне, даже еще до того как он звонил в Париж, — так он думал не раз много позже. Предчувствие может быть на основании вполне разумных и логичных предположений, но и в таких случаях оно часто не

оправдывается, а запоминают те исключительные случаи когда предчувствие оправдалось.

Из-за бури аэроплан опоздал и вместо четырех часов спустился на парижский аэродром уже в шестом часу.

* * *

Уже в начале улицы, на подъеме, ведущем к его вилле, он увидел что у ворот стоят два автомобиля и двое полицейских, а на противоположном тротуаре несколько человек. Сильно сжало в груди и отдалось в руку и в шею. Это с ним и раньше не раз бывало при острых переживаниях, и в те полминуты что прошли пока подъехал к воротам, промелькнули в мозгу прежние мысли о том, что теперь многие умирают от сердечных припадков и что он так умрет. Старался в эти секунды уверить себя что ничего трагичного не случилось, все воображение и глупая фантазия — однако оставались автомобили у его ворот и двое полицейских и люди на противоположном тротуаре, и он подъехал в сильном волнении.

Выскочил из такси не рассчитавшись с шофером, бросил только «подождите», даже чемодан оставил, и быстро, почти бегом вошел в полуотворенные ворота. Полицейский пробовал его остановить, но не обращая на это внимания сказал только: «я Опаров, это мой дом...» и бегом направился к подъезду. Полицейский его не задержал, а с улицы послышались щелканья фотографических камер: репортеры, уже дежурившие у дома, не могли знать кто это, но догадались.

* * *

Входная дверь была не заперта, вошел в большую переднюю и с первой столкнулся с Мисси.

«Каким образом вы здесь? Что случилось... что случилось, где Валерия?»

Мисси плакала, и на этот раз слезы были настоящие, она всхлипывая сказала:

«Фрау Валерии больше нет».

Опаров перебил ее:

«Что значит нет? Нет моей жены? Что вы говорите... Где она?»

«Фрау Валерия умерла», шопотом ответила Мисси.

У стены сидела плачущая Прасковья, рядом с ней горничная, но не обратив на них внимания он быстро отворил дверь в кабинет, там сидел следователь с секретарем и полицейский комиссар, шел допрос шофера.

«Сюда нельзя входить», довольно резко сказал комиссар, но он не обратил на это никакого внимания.

«Я Опаров, где моя жена... что случилось?»

«Ваша жена тяжело ранила свою сестру, может быть смертельно, и сама застрелилась», ответил следователь.

Опаров схватился за голову.

«Тут нечего расследовать, это не преступление, это несчастье... Моя жена была лунатичка, явно психическое расстройство, ревность... наследственность, тут нет преступления», сказал это почти скороговоркой.

Секретарь следователя поднял руку: «Не говорите так быстро, я не успеваю записывать».

«Если нужны будут еще какие-то мои показания, то позже, сейчас я ничего больше не скажу, не могу... где моя жена?»

Ему указали на дверь соседней комнаты, библиотеки, он быстро вошел туда. На диване прикрытая простыней лежала Валерия, лица не было видно. Он отдернул простыню — это была мертвая Валерия, вся правая часть головы в крови, уже запекшейся, глаза закрыты. Откинул простыню дальше, схватил ее руку, она была почти холодная хотя в комнате было тепло, и стал целовать умершую в лицо, в кровяные пятна, ничего не говорил, в глазах были слезы. Так сколько-то времени, несмотря на слова следователя что труп нельзя трогать, он простоял на коленях около дивана, целовал руку умершей, снова прикрыл ее простыней, затем обратился к следователю:

«А где ее сестра?»

Следователь ответил что Ада Рискалина тяжело ранена в голову и отвезена в больницу для немедленной операции, так как пуля застряла в голове. Опаров потребовал адрес больницы и в том же ожидавшем его такси поехал по указанному адресу.

Ада была в хирургическом отделении, еще не в полном сознании, и к ней никого не пускали. Выхвативши из кармана пачку бумажек, он стал раздавать деньги сестрам милосердия, непривычные для них суммы, требовал чтобы позвали главного врача. Быстро появилась старшая сестра, а через некоторое время и врач, сначала младший, а затем и главный, где-то его нашли, хотя сейчас было неурочное время, обход больных уже кончился. Из разговора с врачами выяснилось что операция назначена на завтра.

Опаров настоял чтобы был вызван для консилиума лучший хирург по мозгу, чего бы это ни стоило.

По правилам всякие посещения таких больных запрещаются, но он так настойчиво требовал чтобы его пустили к больной, что согласились. Его провели в хирургическую палату, где за стеклянной перегородкой отдельно лежала Ада. Вошедший с ним врач и старшая сестра настаивали что с больной нельзя разговаривать, ей необходим полный покой, она еще в полусознании, но не обращая внимания на их слова он вплотную подошел к кровати и осторожно взял руку Ады, и даже в этой трагической обстановке обратил внимание на то что ногти у нее по-прежнему естественного цвета, не накрашенные.

«Ты узнаешь меня, Ада... тебе очень больно?»

Верх головы Ады был окутан широкими белыми бинтами, крови на них не было, глаза были открыты, но она смотрела на него каким-то незнакомым взглядом.

Она сжала его руку и потянула к себе, как бы указывая что он должен ее поцеловать:

«Как хорошо что ты здесь... немного болит голова... но я вижу тебя как в тумане... вероятно я буду жить еще...»

«Будешь, ты должна жить... у меня нет теперь никого более близкого», тихо сказал он.

Врач опять остановил его, нельзя заставлять больную говорить, это ей может повредить, ее нужно оставить в полном покое до завтра. Теперь Опаров согласился с доводами врача и повернулся к выходу. В это время Ада тихо спросила:

«А что с Валерией?»

Он сделал вид что не слышал вопроса, вышел и сказал врачу что завтра рано утром будет в больнице и если нужно что-то сделать для того чтобы до операции был консилиум, то просит непременно звонить ему по телефону в любое время, и прощаясь сунул врачу несколько бумажек.

Зашел еще на квартиру главного врача, настоял чтобы тот его принял и также дал ему пачку денег, прося распорядиться ими по своему усмотрению, платить за консультацию. Врач взял деньги, видимо решил что надо сделать все возможное для этой пациентки, так как за ней стоят деньги и к тому же она молода и так красива, он даже не преминул прощаясь сказать:

«Какая красавица ваша родственница... Я сделаю все возможное чтобы операция оказалась удачной, и чтобы она снова была здоровой и такой же красивой».

* * *

Вернувшись домой все в том же такси, Опаров застал у ворот виллы уже целую толпу любопытных и журналистов, но допрос был кончен, чиновники уехали, только один полицейский стоял у ворот, никого не пуская в дом.

Не интересуясь ничем происходящим вокруг, не думая об обеде, не отвечая на телефонные звонки и приказавши никого не принимать, он прошел в библиотеку, где лежала мертвая Валерия, снова откинул простыню, закрывавшую лицо, поцеловал мертвую, уже совсем холодную, взял ее руку и с удивлением заметил что на руке нет александрита.

Опять опустился на колени у дивана и держа ее руку стал говорить тихонько сам с собой, как будто она его слышит:

«Моя милая девочка, тебя больше нет, нет совсем или где-то есть, но не тут... Это наследственность, это твой лунатизм, это шотландский пастор, который усилил его, никакой нет вины за тобой... А на мне есть вина или нет — не все-ли равно. Это глупая Прасковья сказала тебе о той ночи с Адой... Все равно я оставался твоим мужем, любившим тебя, но что случилось, — случилось. Напрасно ты ушла из жизни, в ней могло быть еще много хорошего и радостного, прощай милая девочка...»

Встал, снова прикрыл ее простыней и вышел из библиотеки. Позвал Мисси и в кабинете заставил ее рассказывать подробно все что она знает, почему они оказались в Париже, как произошла эта трагедия.

«Расскажите Мисси все, ничего не скрывая, только правду».

«Я все расскажу, Платон Григорьевич» — впервые Мисси назвала его по имени и отчеству, до сих пор он всегда был для нее господин директор: «у меня ничего не может быть такого, что я утаила бы от вас».

Мисси заплакала или старалась заплакать, но во всяком случае у него явилась уверенность что она будет говорить правду, и Мисси рассказала.

В Берлине фрейлейн Ада очень скучала, несколько раз вызывала ее из конторы и наконец предложила поступить к ней на службу, она будет получать столько же сколько платят в конторе и жить на всем готовом. Контора еще не закрывалась, но Мисси понимала что дело идет с каждым днем все хуже и очень не хотела прерывать связь с фрейлейн Адой, а значит с ним. Она переселилась на виллу и всюду сопровождала Аду. Вначале часто бывали в театрах и особенно в кинематографах. Но фрейлейн Ада все продолжала скучать, все говорила о Париже, но не знала как туда поехать без разрешения. Вместе они опять были в нескольких кинематографических конторах, в одной из них встретился фотограф и сразу обратил внимание на

фрейлейн Аду, ведь она такая красавица. Он предложил снимать ее бесплатно, снимал несколько раз, много снимков, увеличивал их и просил разрешения разослать эти снимки разным кинематографическим предприятиям во Франции, в Англии и особенно в Америке. «На этих больших фотографиях, и во весь рост, и только бюст, фрейлейн Ада удивительно красива, она очень фотогенична... Фрейлейн Ада иногда читала, брала книги из вашей библиотеки и даже покупала разные русские, английские и французские книги. Она к моему сожалению меньше всего хотела читать по-немецки, но говорила уже совсем свободно. Мы разговаривали с ней по-немецки, английский и французский я знаю немного, а по-русски почти совсем не знаю. Она говорила что особенно ей интересны те русские книги, которых нельзя достать в России, она настаивала что я должна учить русский язык и иногда говорила мне что-то по-русски и требовала чтобы я понимала».

И вот несколько дней назад вдруг получилась телеграмма из Парижа от какого-то кинематографического директора, который предлагал ей немедленно приехать в Париж, он уплатит все расходы по поездке. «Фрейлейн Ада как раз подходит для какой-то роли в фильме, который хотят снимать. Фрейлейн Ада решила ехать в Париж со мной. Она хотела сначала прямо поехать к вам на виллу, но передумала, надо сначала спросить вас как отнесется к этому фрау Валерия, и она хотела еще попросить несколько драгоценностей, чтобы надеть их для разговора с директором, на один день. Этот директор американец, он сейчас в Париже... Мы остановились в большом отеле и потом в такси поехали к вам на виллу и фрейлейн Ада все думала как сделать чтобы сначала встретить вас, а не фрау Валерию... А вас не было, вы были в отъезде, какая страшная судьба.. Мы подъехали на такси к воротам и фрау Валерия вероятно видела из верхнего окна как мы вылезали из автомобиля, и когда мы вошли в переднюю она стояла внизу лестницы, в руке у нее был револьвер, и ни слова не говоря она в упор выстрелила в голову фрейлейн Ады, Ада ухватилась рукой за отворенную вход-

ную дверь, а я бросилась ее поддержать, но она упала на ковер и я увидела кровь у нее на лбу, и в это время раздался второй выстрел и немного подальше упала фрау Валерия, она выстрелила себе в висок... Кто-то вбежал с улицы в отворенную дверь, потом прибежали горничная и шофер, и Прасковья. Прасковья бросилась на пол где лежала фрау Валерия и стала громко плакать... Уже совсем скоро в доме был врач и полиция. Полицейские хотели сейчас же увезти тело фрау Валерии в анатомический театр, но я очень просила их на своем бедном французском языке и по-немецки, потом я стала плакать и даже кричать, говорила что вы сейчас приедете, что вы очень богатый человек, за все заплатите, чтобы не трогали тело умершей... А фрау Аду они сейчас же отвезли в больницу, доктор сказал что нужна немедленная операция, и я поняла что это нужно, ее увезли».

* * *

Опаров не спал всю ночь, долго не отпускал Мисси, заставлял рассказывать еще всякие дополнительные подробности их жизни в Берлине, ждал телефонного звонка, и так не ложась в постель в семь часов уехал в больницу.

Аду оперировали, и по словам врачей операция прошла исключительно удачно. Несколькими снимками было точно установлено где находится пуля и потребовалось совсем небольшое круглое отверстие в черепе чтобы ее вынуть, оперированное место закрыто тем же кусочком кости, так что на черепе даже не останется рубцов когда все зарастет.

«Мы даже как можно меньше сбривали кругом ее прекрасные волосы, замечательно красивые у нее волосы», говорил старший врач.

Каждый день Опаров подолгу сидел у постели Ады, кроме сиделок и Мисси также дежурила почти двенадцать часов в сутки, но Опаров хотел оставаться с Адой наедине и тогда отсылал Мисси домой. На четвертый день сняли часть бинтов, глаза Ады были теперь совсем открыты и

тут произошло нечто жуткое, еще не наверно, может быть обойдется, но Ада держа руку Опарова сказала:

«Я знаю что это ты, но я тебя не вижу».

Он ответил что еще день-два и зрение восстановится, так и должно быть после операции в мозгу, но тяжелое предчувствие неотступно стояло перед ним. Он не верил в предчувствия, но тут было вполне логичное рассуждение — может быть вынимая пулю повредили глазные нервы и тогда это слепота. Уже в тот же день вечером главный врач вызвал известного окулиста, видимо и он понял что значит эта фраза оперированной что она ничего не видит. Был приглашен еще и другой знаменитый окулист, осмотрел больную, сказал ей что это только временное нарушение зрения, она будет видеть как видела прежде, но в разговоре наедине с Опаровым он только развел руками и не отрицал что может остаться полная слепота. Добавил что пулю во всяком случае надо было вынимать, нельзя было оставить ее в мозгу, и что пуля по какой-то необычайной случайности оказалась на перекрещении зрительных нервов.

В печальном настроении Опаров приехал домой, он гнал от себя эту мысль и в то же время понимал что случилась трагедия, Ада навсегда останется слепой.

Не мог еще решить как и где похоронить Валерию, ее уже набальзамировали, так он хотел. Уложили в металлический гроб со стеклянным окошечком и запаяли как требуется по закону, но похороны он отложил, сговорился с маленькой церковью, у которой был сводчатый подвал, чтобы там на время поставить гроб, пока будет готов склеп на кладбище. А в действительности гроб остался в подвале его виллы.

Заплативши значительную сумму Опаров купил участок на французском кладбище и заказал построить там настоящий склеп, в который можно потом входить открывши плиту. Так хоронили в былое время в России, так были похоронены его близкие. Он не хотел зарывать гроб в землю, ясно понимая что это совсем не важно, мертвому все равно, но даже о себе иногда думал что нужно подго-

товить склеп и для себя. Тут же сам критиковал это свое желание: не все ли равно как и где похоронят; раз человек умер — его уже нет, ему все равно... и все-таки оставалась эта мысль, вошедшая в сознание или в подсознание от предков.

* * *

В конце сада внизу, ближе к Сене, была довольно большая горка крупных неотесанных камней, около нее росли два столетних платана, и когда он покупал виллу, то эта совсем ненужная каменная горка ему очень понравилась, и захотелось купить именно эту виллу, хотя цена была несуразно высокая.

Директор конторы, продававшей виллу, все время подчеркивал как она живописно расположена, какое это исключительное место, как раз против Булонского леса, и даже добавил что когда-то она была собственностью маркизы Помпадур. Жила ли когда-нибудь здесь маркиза Помпадур — Опарову было совершенно безразлично, и к его удивлению и Валерия этим не интересовалась, однако среди многих других эта вилла нравилась ему. Он не жалел теперь денег, но купеческая наследственность заставляла торговаться, смеясь он заметил директору что в астральные тела он не верит, дух маркизы Помпадур здесь бродить не будет даже по ночам и цена виллы не увеличится даже если тут бывал и сам Людовик XV. Три дня не отвечал на телефонные звонки конторы, и это подействовало на директора, он побоялся упустить покупателя и значительно сбавил цену. Вилла была куплена.

Эта груда камней, ни для чего не нужная, была затеей какого-то давнего владельца. Может быть это был когда-то грот, а теперь что-то вроде неполной подковы из больших камней, при этом не известняка, какого так много в окрестностях Парижа, а тут был и гранит и базальт, камни откуда-то привозили издалека, и этот каприз стоил несомненно дорого.

Думая теперь о Валерии он не хотел вспоминать ее такой, какая она лежала на диване в библиотеке, с окровавленным лицом, хотел представлять ее иной, и два образа были особенно ярки: первый из той ночи когда она в розовом халатике шла с ним в гараж где ему была приготовлена смерть, а второй совсем недавний, уже здесь на вилле в Париже: как-то вернувшись домой он увидел что Валерия стоит у этой горки камней, прислонилась лицом к большому красноватому камню и точно с ним разговаривает, или слушает что он говорит, это было днем, не в припадке лунатизма, совсем сознательно. И когда он потом ее спросил почему она там стояла, Валерия ответила что она разговаривала с камнями, но не помнит о чем.

И вот теперь в этих тяжелых переживаниях, вернувшись из больницы, он пошел к этой каменной горке. На одном из камней клочьями порос мох, в камне было два небольших углубления, как будто глаза, а пониже посередине клочок мха, точно бородка, и даже казалось что и нос есть — совсем живой камень.

«Мне только шестой десяток, а тебе миллион или миллионы лет, с годами приходит мудрость — скажи мне что-нибудь, красный гранитный камень».

Вполне понимая что это детская игра, совсем сейчас неуместная, Опаров произнес тихонько эти слова и погладил камень рукой. Дальше он не говорил а только думал:

«Так недавно здесь стояла Валерия и как будто говорила с этим камнем, о чем она говорила? Не все ли равно, ее больше нет, ее материальные остатки лежат вот там в моем подвале, но ее нет... вечность слово непостижимое, а вот сейчас вечность между тем что было несколько дней назад когда тут она стояла, и тем что сегодня когда она мертвая набальзамированная лежит в подвале... В детстве у меня был ангел хранитель с большими белыми крыльями и платочком, которым он вытирал слезы когда я грешил; был и домовой, в конюшне у дедушки непременно держали черного козла, который был в дружбе с домовым и не позволял ему беспокоить лошадей; был леший, и я сам слышал как хрустели ветки когда он ходил в лесу,

и даже слышал как он кашлял где-то в чаще. Эти сказки ушли навсегда, никогда не вернутся, не могут вернуться и не нужно чтобы вернулись; астрального тела у меня нет. К этим фантазиям уже взрослых людей и даже иногда как будто умных я относился только с иронией и улыбкой — и астрального тела Валерии тут нет... Ничего мудрого ты мне не скажешь, древний камень, не направишь меня и ничего мне не подскажешь, нужно самому отвечать за себя и вот еще за Аду, и если она слепая на весь остаток жизни, это так трагично, буду делать все что могу... Закончив дела чтобы не растрачивать душу на наживу, теперь вот совсем свободен и не знаю что делать дальше, не знаю в чем смысл жизни... Трудно мне сейчас, древний камень, но обойдется, как-то надо жить и жить возможно приятнее, не мешая другим...»

Он погладил холодный камень, даже прикоснулся к нему губами, и пошел в подвал где стоял гроб Валерии. Там сидела Прасковья и при свете восковой свечи читала какую-то книжку, молитвы или что-то другое священное. Прасковья смутилась, она думала что тайком сюда ходит, никто не знает. Как потом выяснилось она просила шофера — он говорил по-русски — чтобы он купил ей церковных свечей, сама без языка боялась выходить из дому.

«Разрешите Платон Григорьевич читать сорокоуст по покойной Валерочке, только у меня нет псалтири, может быть вы дадите мне псалтирь? А может быть можно монашку какую-нибудь позвать, чтобы день и ночь сорокоуст читать».

«Никакой монашки не надо», ответил Опаров, «но вы читайте сколько хотите, я сегодня достану вам псалтирь».

Прасковья заплакала и прильнула лицом к гробу, Опаров тоже погладил его рукой и посмотрел в стеклышко как раз над лицом Валерии, оно было как будто совсем такое как прежде, только глаза закрыты.

«Милая моя девочка, тебя больше нет, я уже ничего не могу сделать для тебя, теперь тебе все земное безразлично, оно нужно только окружающим и близким, но из близких остались только я и Прасковья...»

Он вышел из подвала как будто успокоенный и стал думать о том, что теперь надо сделать для Ады, как сделать ей жизнь приятнее, а это так трудно если она ослепла; пока она в больнице в одной комнате, в кровати, но вот завтра-послезавтра она приедет сюда и не знает где дверь, где окно, где лестница. Нужно дать ей спальню во втором этаже, но туда ведет лестница и как она слепая будет ходить по этой лестнице, свалится, разобьется, нужно сделать для нее какой-то выпуклый план дома. Надо бы побольше цветов, но она их не увидит, нужно выбрать только душистые, она так любит духи, и всякие запахи для нее теперь так важны... Что-то многое нужно сделать для того чтобы ее трагедия была не такой трагичной, ведь зрение важнее всех остальных наших чувств взятых вместе.

* * *

В парижских газетах уже были сообщения с крупными заголовками о таинственной драме на богатой вилле в Сен-Клу, и в двух газетах появились большие снимки: Ада во весь рост, красивая, элегантная, молодая, будущая звезда кинематографа — так писали газеты. Вероятно фотографию дал репортерам кинематографический импрессарио, который ее вызывал в Париж, или быть может берлинский фотограф продал фотографию, узнавши о происшедшей драме, о ней были заметки и в берлинских газетах. Несколько репортеров уже старались получить интервью от Опарова, были и в больнице где лежала Ада, но он ни с одним не разговаривал, а в больнице какая-нибудь сестра милосердия или даже врач может быть что-то и говорили. В газетных сообщениях было много фантазии, старались сделать эту драму еще драматичнее и таинственнее чем она была.

Пройдет несколько дней, постепенно об этой драме забудут, она перестанет появляться на газетных страницах все в новых вариантах, и это не важно, совсем безразлично, но как дальше устроить свою жизнь?

Отрезок жизни, иногда большой, идет однообразно,

почти одно и то же изо дня в день, порой проходят годы в этом однообразии, и вдруг случается что-то неожиданное, эта неожиданность влечет за собой новые неожиданности, жизнь становится совсем иной — так думал Опаров.

Почтальон принес вечернюю почту и в ней заказное письмо, конверт большого формата, запечатанный пятью зелеными сургучными печатями. Сразу узнал почерк Мурова, больше двух лет не было от него никаких известий. На письме был берлинский адрес, но там его переписали и почта исправно переслала письмо в Париж. Письмо было не только заказное, но еще и застрахованное в значительную сумму и с обратной распиской, совсем необычное, и он не подписал бы этой расписки если бы не узнал почерка Мурова. Письмо было из Перу судя по маркам, но штемпель на них был так смазан, что нельзя было прочесть города.

Письма Мурова были всегда очень приятны и интересны, иногда надолго меняли направление мысли, а это, после такого продолжительного молчания, особенно обрадовало. Разорвал конверт с волнением и сразу обратил внимание что ни в начале письма ни в конце нет адреса отправителя, его не было и на конверте. Может быть адрес был в обратной расписке, но почтальон уже ушел, может быть адрес есть в тексте письма.

Подумал опять о случайностях какие наслаиваются на комок жизни, комок становится все сложнее. Эта сложность может быть увеличится и от этого письма Мурова, неожиданные наслоения начались раньше, они начались с того дня когда к нему в контору пришла неведомая ранее девочка, Валерия Рискалина. С этого дня начались тревожные неожиданности, а что еще в этом большом письме?

Долго и внимательно перечитывал письмо. Оно было написано твердым знакомым почерком, но было много поправок и даже вычеркнутые слова и целые фразы, Муров явно колебался когда писал его, никогда не было его письма с такими поправками и вычеркиваниями. И в тексте письма никакого адреса не оказалось, и это было уже совсем непонятно.

• • •

Всю жизнь я искал друзей не только среди женщин, но и среди мужчин искал, но не находил, разочаровывался, был обманут в их чувствах ко мне. У нас с Вами не было особой дружбы, но в Вас я не разочаровался и потому Вы оказываетесь другом. Особенно печальное и болезненное чувство было для меня всегда разочарование, и чем дальше тем осторожнее вступал я в дружеские отношения с людьми, а вот в Вас я не разочаровался, наоборот все больше оценивал Вашу кажущуюся холодность, и по мере того как я знакомился с Вами, я видел что Вы не прикрываете деланной ласковостью и льстивостью безразличного отношения, а теплое чувство как бы умышленно обвеваете холодком.

Никогда никому я таких писем не писал и никому больше не напишу. Как Вы знаете я полжизни занимался делами, стараясь сделать себе состояние, а не оказаться в старости пенсионером в каком-нибудь доме для стариков, с одинаковой койкой и котлетами для всех. Но главными моими мыслями было найти смысл и цель жизни. Я сдал государственные экзамены на двух факультетах университета, но настоящее накопление знаний началось у меня после университета, я стал много читать по философии и социальным наукам, религиозными знаниями я уже много раньше перестал интересоваться. В детстве у меня была горячая религиозность как и у Вас, староверская, но это быстро ушло, особенно под влиянием уроков Закона Божия в гимназии. По мере накопления знаний у меня создавалось все более и более скептическое отношение к достижениям человеческого разума, я все критиковал, ни с чем не соглашался, всюду видел призрачность наших знаний. Постепенно создалось резкое отталкивание от всяких авторитетов, само слово авторитет стало ненавистным. Все философские системы, все общественные и социальные договоры, равно как и религиозные приказы, казались мне ничтожными, просто мнением случайных людей, может быть более глупых или даже более умных чем я, но все равно

они были сомнительны и необязательны для меня. В течение десятков лет я пришел к полному отрицанию всяких «нужно» и «нельзя» — кто это может мне что-то приказывать, и кто может мне что-то запрещать? Всю вторую половину жизни я прожил с полным отрицанием этих слов. Как Вы знаете одно время я занимался издательством, даже издавал ежедневную газету, не по гуманитарным соображениям, а просто хотел делать на этом деньги, и не без успеха. Отрицая для себя «нужно» и «нельзя», в своей газете я эти слова постоянно повторял, прямо или косвенно. Они были необходимы для читателей моей газеты, от них зависел тираж, а значит объявления и доход. Да и никак нельзя бросать толпе такие отрицания, иначе всё разгромят, и меня самого. Толпе нужна строгая мораль, хотя бы и основанная на весьма шатких фундаментах, религиозных, философских или каких-либо иных, всегда сомнительных.

Есть такие мысли, что даже от самого себя их надо прятать в самые глубокие подвалы сознания, и если они пробуют высовывать оттуда свои змеиные головы, бить их, затыкать обратно, а еще лучше совсем убить. А вот хотя бы мысли о какой-то другой жизни после этой, не подтачивать сомнением, с ними жизнь все-таки радостнее и смерть не так страшна, как бы они ни были сомнительны.

Я не хочу быть верховным жрецом, верховный жрец в каком-то тридцать шестом или сорок восьмом посвящении один только знает последнюю тайну, хранимую в святая святых, куда никому нет доступа. Все остальные жрецы, даже главные из них, не должны знать этой высшей тайны, хранящейся в святая святых, только он один, верховный жрец, знает что там, какая там тайна. А там нет никакой тайны, там пустое место.

Понятия добра и зла туманны и растяжимы, точных границ нет, в разные периоды истории у разных народов понятия добра и зла менялись, и чаще имели успех жестокие и злые правители, или такие, которые явно обманывали толпу...

И вот так я подошел к преклонному возрасту, к старости, и тут задал себе вопрос зачем я жил, в чем смысл существования, что делать дальше?

Теперь уже поздно перестраивать все мышление, да и чем его заменить! Совсем не важно было ли мое мировоззрение годно или вредно для других, тогда мне это было безразлично, но и для самого себя я не нашел смысла жизни, образовалась пустота. Отказываясь постепенно от всех навязываемых обязательств и чьих-то приказов, я считал что становлюсь свободным, к этому я стремился, в этой свободе видел зачатки мудрости, но мудрость всегда одинока, живет на вершинах, а для меня одиночество было непереносимо. К тому же мои вершины были только холмики на болотистой низменности. И вот теперь к концу жизни я совершенно одинок. Были две женщины, которые мне нравились, которых мог бы любить, все время в них сомневался, оставлял несказанными ласковые слова, теперь и их нет, они умерли и прошлого не вернуть. А может быть я был слишком подозрителен, мешал мой постоянный скептицизм и это чувствовали, и в мою дружбу не верили? Я не мстил никогда, не по соображениям моральным, а просто потому, что уже давно решил что мщение приносит много хлопот и неприятностей и в конце концов удовлетворения не дает. Когда меня обворовывали я ни разу не обращался в суд, а только иногда старался вернуть украденное.

А вот теперь единственное желание что-нибудь или кого-нибудь полюбить, и этому отдавать свои мысли и поступки. Понятно не что-то, а кого-то. Я как будто любил свои дела и находил радостные переживания когда что-то удавалось, но теперь это ушло, не нужно, бесцельно. В творчестве вероятно большая радость, его можно искренне и горячо любить, но мне этого не было дано, нельзя же считать творчеством наживание миллионного состояния. У меня были любимые вещи и в них я находил какую-то мистичность, хотя это было против всего моего мировоззрения. Вы может быть помните что я всегда носил на пальце кольцо с большим александритом? Когда я буду

писать завещание я оставлю это кольцо Вам, но это пустяки, это просто камень, который ничего сказать не может.

Электрическая индукция несомненна, но есть и психические индуктивные токи, они действуют на людей и многие их чувствуют. Может быть потому у меня никогда не было друзей что я и сам не был уверен в прочности своей дружбы, всюду была оглядка и сомнение, и может быть это чувствовали. Настоящих друзей можно находить только тогда когда ты сам настоящий и несомненный друг, и это должны чувствовать, скрыть нельзя. Теперь я это понял, но сожалеть поздно, хочу сказать Вам, а Вы еще кому-нибудь.

Оказалось что из всех сомнительных «нужно» есть одно несомненное, нужно кого-то любить, все прощать ему, жить его радостями, а у меня этого не было. Совсем не нужно чтобы тебя любили, не надо искать чьей-то любви, а важно и нужно любить самому, только это и важно...

* * *

Сунул письмо в карман пиджака. Уже ложась спать вынул его, снова прочел, остановился на некоторых фразах, думал о них и положил письмо под подушку. Хотелось с кем-нибудь поделиться своими мыслями, кому-нибудь дать прочесть, но кому кроме Ады, Ада сама прочесть не может и читать ей бесцельно, никакого впечатления на нее не произведет, на нее теперь ничто не производит впечатления.

Последние фразы письма о том что надо кого-то или что-то любить, что это главное в жизни, Опаров запомнил до конца своих дней и эти фразы повлияли на его дальнейшее мышление. Но сейчас хотя бы и маленькой но острой мыслью были слова из письма об александрите. Александрит Валерии куда-то исчез, его искали по всему дому, все перетрясли, искали даже в саду, просеивали землю с дорожек, но кольца с александритом не нашли, оно исчезло. И вот вдруг в письме Мурова снова александрит, ко-

торый он всегда носил на пальце, этот александрит он завещает ему. Муров никогда не говорил зря, когда-нибудь александрит будет получен: александрит нашелся, но совсем другой. Мысль об александрите не оставляла его, рано или поздно он его получит, и что этот александрит сулит ему? Хотел чтобы кольцо Валерии охраняло ее и принесло ей счастье, а вышло так, что когда она стреляла в Аду и застрелилась сама, кольцо куда-то исчезло.

Решил сейчас же написать Мурову, даже послать телеграмму, но не было адреса — послал сфотографировать штемпеля на марках в увеличенном размере и тогда наконец прочел: это оказался маленький городок со странным для нас названием Лампа, на берегу озера Титикака. Какое странное место, зачем попал туда Муров? Знал кое-что об этом удивительном озере-море, на громадной высоте Кордильеров, посмотрел в большой Британской Энциклопедии, потом вспомнил что у него в библиотеке есть английские книги Прескотта о завоевании Мексики и Перу, нашел там несколько подробностей, которые забыл, хотя когда-то читал эти книги. На берегах озера Титикака до сих пор сохранились развалины древних храмов инков, здесь зарождалась их религия и государственное устройство, на берегах озера был ряд сражений, раньше инки подчиняли себе соседние племена а затем их подчинил, ограбил и окончательно уничтожил Пизарро. Озеро громадное, холодное, с сильными ветрами, мрачное, на границе Перу и Боливии, и совсем рядом тропические верховья Амазонки.

«Почему он выбрал такое необычное место на земном шаре, с трудным климатом для непривычного человека, еще одна из его странностей».

Послал телеграмму, но получил ответ что адресат неизвестен и телеграмма не доставлена.

* * *

Зрение Ады не восстанавливалось, она была еще уверена что это только временно какая-то туманная темнота

кругом, опять увидит все как видела раньше, но Опаров думал иначе. Что будет дальше, как и когда она примирится со своей слепотой, вообще примирится ли? а она теперь для него близкое существо, других нет.

Как-то она спросила:

«Как темно в комнате, а лампа горит?»

«Нет, лампа не горит», спокойно ответил он. Лампа и не должна была гореть, еще не зашло солнце, было совсем светло. Уходя Мисси сказала что сегодня днем больная крепко заснула, спала часа два. Теперь проснувшись не знала который час.

«Она теперь вообще не может знать который час, хотя часы лежат на ее столике... Непременно надо купить часы с репетицией, чтобы нажать кнопку и они били четверти», подумал он, и уже назавтра были куплены такие часы. Одни поставили в будущей спальне Ады, а другие в кабинете, тут на камине всегда были бронзовые часы с мелодичным вестминстерским боем, без репетиции.

* * *

Телеграммой был выписан известный окулист из Швейцарии и осмотревши больную обнадежил ее что зрение постепенно восстановится, но главному врачу больницы и Опарову сказал что надежды очень мало, разве какой-нибудь непредвиденный «шок», маловероятно.

Ада уже могла бы приехать домой, так сказал врач, но Опаров попросил убедить больную что ей еще на несколько дней необходим полный покой, хотел задержать ее приезд чтобы возможно подготовить дом для жизни слепого. Если бы она уже жила в этом доме и в этом саду, то знала бы и расположение комнат и дорожки сада, но она никогда тут раньше не была.

Двери на лестницу со второго этажа нет, рукой не нащупаешь, может свалиться — надо что-то сделать. Вспомнил — видел в чьей-то квартире как будуар хозяйки был отделен занавесом из тонких тростниковых палочек,

и когда входили они издавали легкий мелодичный звук; надо сейчас же сделать здесь такой занавес.

Постоянно при Аде будет Мисси, никогда не будет выходить в сад одна, но она взбалмошная, вдруг пойдет, споткнется, упадет и не только может поранить себя, но еще всякий раз будет обостряться сознание слепоты.

Уже поговорил с Мисси о ее дальнейшей службе, она должна быть неотлучно при Аде, будет получать что ей назначила Ада, а он от себя, так чтобы Ада не знала, будет платить еще вдвое, и это так много что она может эти деньги откладывать и составить себе приданое. Мисси прервала его:

«Я никогда не выйду замуж, мне не надо приданого... Я всегда хочу быть там где вы».

Он и раньше не стеснялся в разговорах с Мисси и теперь добавил:

«Если вы решаете связывать свою жизнь с нашей, то все-таки имейте в виду что вы будете жить на всем готовом и получать такое необычно большое жалованье, но только до тех пор пока Ада и я будем живы, по наследству ничего не получите».

Сказал это, и ему даже стало жалко эту берлинскую девочку, уже и не девочку, у которой впереди не видно ничего радостного. Надо и ее жизнь сделать возможно приятнее.

Прошло несколько дней, рана Ады совсем зарубцевалась, голова не болела, но зрение не восстанавливалось, все кругом для нее было в темном тумане, так она говорила: не в черном, а в темном, даже белесоватом; он внимательно прислушивался к каждому ее слову. Дома завязал себе глаза платком и клеенкой, чтобы ни малейшего луча света не проникало, и старался вообразить что сейчас Ада переживает. Вспомнил детскую игру в жмурки, тоже завязывали глаза платком, но кто похитрее оставлял внизу маленькую щелку, и даже с этой щелкой стукался о стены, знал что дверь направо, а попадал налево к окну, и другие смеялись.

У Ады теперь и щелки нет, но ждать дальше нечего, было решено что завтра она переезжает домой на его виллу, — теперь это и ее дом.

* * *

Ожидая когда она снова будет видеть, Ада не хотела выходить на улицу, зачем ей улица с незнакомыми тротуарами, что она может там узнать, только споткнуться и быть смешной для окружающих. Даже по садовым дорожкам не хотела ходить, все нужно держаться за Мисси, а то ступишь на газон, на грядку или на куст. А вот в последние дни она стала выходить с Мисси на прогулку, не в сад, а по улице, это знал Опаров, не расспрашивал но удивлялся. Наконец спросил Мисси:

«Куда вы ходите? Почему вы мне до сих пор не рассказали?»

Мисси несколько смущенно ответила что фрейлейн Ада приказала ей не говорить куда они ходят, она понятно сказала бы, если бы думала что это важно и может иметь какие-нибудь последствия, но ничего важного в этом не видела.

«Мы ходили в разные церкви на мессу и там сидели полчаса, а иногда больше, и фрейлейн Ада вставала когда звонил колокольчик в католической церкви и клала какие-то монеты в мешочек со звоночком, когда его просовывали среди рядов скамеек».

Мисси совсем не интересовалась религией, когда-то в детстве бывала в лютеранской церкви, католических же порядков не знала, а потому запомнила этот звоночек с мешочком, и вообще звоночки во время мессы.

Он был удивлен как же это Ада захотела ходить в церковь, так на нее не похоже, так непонятно. Никакой религии не было в доме отца, а потом беспризорная, пионерка, комсомолка, там над религией смеялись и издевались, церковные службы называли мракобесием, и высыла-

ли в Сибирь или в концентрационные лагеря попиков, которые еще пробовали совершать богослужение в немногих оставшихся церквах. Он старался всячески щадить внутреннюю жизнь Ады, но все-таки спросил ее:

«Мисси мне сказала что вы сегодня были в церкви».

«Уже несколько раз были в церкви».

«В какой церкви, в православной или в какой-то другой?»

«Все равно в какой, я уже несколько раз хожу, и все равно какая, сегодня мы были кажется в протестантской, но мне больше нравятся католические, потому что там орган... В церкви вероятно полутемно, свет проходит только через цветные стекла в окнах, я этого еще не вижу, но догадываюсь... Запах каких-то курений, вероятно это ладаном называется, и запах восковых свечей, они потрескивают, а может быть это не свечи а лампадки с маслом; поют, играет орган и с улицы шум почти не доходит, точно в каком-то ином мире. Что они говорят и поют я не понимаю, мне все равно...»

«Почему же ты мне не сказала что ходишь в церковь, почему это сделала тайно от меня, хотя и говоришь что я самый близкий тебе человек?»

«Я хотела сказать тогда, когда из этого что-нибудь выйдет, что же говорить зря, ты будешь только удивлен и ничего не поймешь... Я не молиться хожу, а мне хочется проникнуться верой, нет не верой, а только настроением, поверить я не могу, но все-таки хоть под сомнением явится мысль что там что-то есть, другая жизнь, и тогда я спокойно могу закончить эту... А если там ничего нет вообще, тогда я все-таки еще протяну жизнь здесь, хотя бы и несчастную... хотя бы и в этой белесоватой темноте. Я еще не потеряла надежды что зрение вернется, этот швейцарский доктор уверял что вернется, и верю и не верю, хочется верить... а если не вернется?»

Он понимал что нельзя говорить ей правду о ее трагедии, но и обманывать все время нельзя. На-днях она говорила что теперь все могут ее обманывать, скажут что это ее красные туфли, а подсунут зеленые, и она не будет

знать, так и будет ходить в зеленых, думая что они красные.

«Я Мисси не верю, она хитрая и неискренняя... Я только тебе верю Платон. Когда я пришла тогда к тебе ночью, это не потому, что влюбилась в тебя, сама не знаю почему пришла, может быть по расчету. Ты мне казался привлекательнее наших советских, с которыми прошла молодость, а теперь мне кажется что я тебя действительно люблю. Я никогда в жизни никого не любила, даже родителей не любила, они все время наставляли и приказывали как нужно вести себя, мне это не нравилось; я подчинялась, но любви к ним не было. Я им благодарна за мое детство, ты как-то говорил что не хотел бы вернуться в свое детство, что оно было скучное и печальное, а мое было хорошим, несмотря на приказы гувернанток, которые заставляли говорить один день по-английски, а другой по-французски...»

В первый раз Ада стала рассказывать свои воспоминания о детстве, он слушал не прерывая, чтобы она не вернулась к сегодняшнему, к своей слепоте. Ада продолжала, спокойней обычного:

«Ты знаешь, тогда вечером когда я приехала к Валерии, я не знала кто ты, и даже не спросила сразу. Я тогда совсем не вспомнила что я ведь тебя видела когда-то, это не удивительно, сколько мне тогда было, лет восемь, а теперь я ясно припомнила что это был именно ты, удивляюсь как это я могла так забыть... Ты был у нас тогда в гостях, это было осенью, озеро уже подернулось тонким ледком, и нашу моторную лодку хотели уже вытаскивать в сарай, но папа решил еще раз прокататься по озеру, был ты, моя англичанка и мальчик лет десяти, ты помнишь? Было так интересно, лед с легким треском ломался и хрустел под лодкой и мне все хотелось ехать дальше и дальше, но папа сказал что довольно, а то промерзнем. Ты помнишь?»

Он вспомнил теперь эту прогулку по озеру по льду.

«Ты помнишь этого мальчика, мы с ним разговаривали по-английски, ты вероятно думал что это английский

мальчик, а он был япончик, сын японского посла, он гостил у нас уже не первый раз, и его мать тоже приезжала к нам. У папы были какие-то связи с японским посольством, тогда это меня нисколько не интересовало, а теперь удивляет... Этого мальчика звали Куки, очень занятный был, говорил что влюблен в меня и когда мы вырастем он непременно на мне женится, если я согласна».

Ада засмеялась, что теперь редко бывало.

«Где-то он сейчас, что с ним?»

«Ты хотела бы узнать что-нибудь о нем?»

«Зачем он мне, что теперь у меня осталось, новых людей я больше видеть не могу... вот тебя знаю хорошо, даже эту Мисси, Прасковью, которая меня ненавидит, Писанку».

Вчера он не успел сказать Аде, сказал теперь: получено письмо от Писанки что у него умерла жена при родах третьего ребенка, и в этом письме он снова уверял в своей преданности и желании всеми силами служить и впредь.

«Я его видела, я его знаю, а других больше не вижу», тихо добавила Ада. «Может быть его можно тоже выписать сюда?»

«Я сам подумал об этом получивши письмо. Ты ведь не хочешь возвращаться в Берлин, надо только перевезти оттуда твои вещи. А виллу надо продать, будем все жить тут».

«Продай виллу и выпиши Писанку, а я в Берлин не поеду, и вещей моих мне не надо, там всякие разноцветные платья и я не буду знать какое надела, какого оно цвета, надо будет верить Мисси, а она может соврать, все мне могут теперь врать и делать из меня дуру... Ты говорил когда-то что любишь бархат, я теперь буду носить только черный бархат, только черный, чтобы не было ошибки что не тот цвет... Мне все равно что я буду носить, а тебя я теперь люблю, понимаешь, люблю, хотя никогда не верила в это слово» — и Ада, сидевшая рядом, протянула руки, обняла его и поцеловала в седеющие волосы и потом в губы. На лбу у нее, как раз посредине, было только-что зарубцевавшееся пятнышко, а глаза были

такие же как прежде и как будто она по-прежнему видела, видела теперь его.

Уже несколько раз она просила затворять окно на улицу чтобы оттуда не доходил шум, как-то сказала что будто видит что-то по звукам. Она догадывалась откуда идет звук и туда направляла глаза, как будто что-то там видела, хотя в действительности не видела ничего, только воображала: а при шуме с улицы не различала отдельных звуков, и глаза смотрели куда-то в пространство. Он спросил почему она никогда не ездит в автомобиле и в церковь тоже ходила пешком, совсем не знает Парижа, никуда не ездит, а всегда могла бы поехать когда захочется. Ада нервно махнула рукой:

«Для меня мучительно ездить в автомобиле, ничего не вижу, только пугают звуки проносящихся мимо, или кто-то навстречу или обгоняют, вздрагиваю и проклинаю свою слепоту. Не знаешь где едешь, что кругом парк, улица или мост... удовольствие езды в автомобиле было смотреть на окружающее, мимо чего проезжаешь, а когда ничего не видишь, тогда езда мучительна. Когда идешь пешком, хотя бы держась за Мисси, то знаешь где кончается квартал, знаешь сколько прошли и приблизительно где находишься, а в автомобиле мученье... Говорили что Париж самый красивый и самый веселый город в мире, а для меня он только чужой и шумный... какая я несчастная, я не могу так жить, дай мне виски-сода, в опьянении все не так ужасно...»

Раньше, до слепоты, у Ады бывали быстрые движения, в противоположность сестре, которая всегда была как будто медлительна и осторожна, но теперь слепая Ада двигалась уже замедленнее, боясь на что-нибудь наткнуться, и не раз натыкалась — но сейчас она порывисто вскочила, хотела идти к двери, и хотя знала уже хорошо расположение комнат, попала к окну. Опаров переживал ее настроение, ему было жалко ее; подойдя сзади он ласково взял ее за обе руки выше локтей и направил к двери в коридор и дальше в столовую к бару.

«Ты как будто упираешься Ада, точно надо тебя подталкивать...»

«Да, я боюсь теперь быстро ходить и я забыла что это ты, с тобой мне ничего не страшно, а когда я хожу с Мисси мне все время кажется что она натолкнет меня на что-нибудь... какой ужас такая жизнь, какая я жалкая и смешная...»

Его лицо почти вплотную прикасалось к ее золотистым волосам с знакомым запахом ее духов, он нежно поцеловал ее в шею, крепче прижал к себе, и они подошли к бару; отворил его, бесшумно выдвинулся массивный столик красного дерева, раскрылся, поднялся поднос с набором граненых стопок и стаканов; позвал Мисси, сказал чтобы принесла содовой воды, налил в три высоких стакана виски и содовую, предложил Мисси тоже сесть рядом, и так они довольно долго просидели у столика, и Ада ушла к себе как будто успокоенная.

* * *

Опаров уехал на несколько дней в Берлин. Торопился домой, пробыл всего три дня. Прежде всего повидался со старым адвокатом, тот ничего не знал о смерти Валерии, был очень удивлен, ласковыми словами вспоминал ее. Нужно было уладить вопрос с наследством, наследником Валерии являлся муж. Адвокат рассказал теперь что незадолго до отъезда их из Берлина Валерия была у него и спрашивала может ли она написать завещание в пользу мужа. Он пояснил ей что она несовершеннолетняя и такое завещание невозможно, а ее опекун, в то же время ее муж, и она хочет все оставить ему, вопрос почти неразрешимый юридически. Завещание не было написано, но воля покойной была ясна адвокату.

Осторожность Опарова во всяких делах и «игра ума», как он это сам шутя называл, оказались в данном случае очень полезными. Еще до наследства Валерии было решено ликвидировать дела в Берлине и обратить все в наличные деньги или в золото, и теперь оказалось что наслед-

ственных пошлин будет совсем немного, так как уже почти все переведено за границу, о сейфе же в бернском банке никто не знает.

Все вещи Ады были тщательно упакованы Писанкой и отправлены в Париж. Виллу было поручено продать специальной конторе, а Писанка выразил полную готовность переселиться в Париж. Фрау Ромель плакала когда узнала что вилла будет продана, и Опаров предложил ей тоже поехать к нему в Париж, теперешняя кухарка была плохая. Несмотря на то что у фрау Ромель был в Берлине внук, она с охотой согласилась служить и в Париже, а внук уже не маленький, она будет посылать ему деньги и может как-нибудь поехать повидать его.

Решение взять в Париж и фрау Ромель создалось как-то сразу, раньше этого не предполагал, но теперь решил, и у него было приятное сознание что вот люди не хотят от него уходить, фрау Ромель готова даже покинуть родную страну и внука лишь бы остаться при нем.

В свою бывшую контору он даже не заехал, узнал что она закрывается, теперешние владельцы судятся между собой, и прежние клиенты не хотят иметь с ними дела.

• • •

Ада встретила его радостно, обняла и долго целовала, сказала что без него было так тоскливо, часы считала когда он приедет. Смотрела на него как будто зрячими глазами, пятнышко на лбу стало совсем маленьким. Было радостное чувство что он снова у себя и с ним Ада, но обратил внимание что от нее кроме знакомых духов пахнет виски, что она пьяна. Хотел сейчас же сказать это, но промолчал, надо еще проверить — может быть показалось.

Вызвал Мисси в сад и спросил:

«Мисси, вы отворяли бар в моем отсутствии?»

Мисси как всегда оказалась догадливой, сразу поняла о чем ее спрашивают, она уже давно решила ничего не скрывать:

«Нет, но по распоряжению фрейлейн Ады я два раза покупала ей виски».

«Почему же вы покупали, а не взяли в баре?»

«Она не хотела чтобы вы догадались, она старалась чтобы вы не узнали о том что она немножко пьет».

Кроме мебели, привезенной с берлинской виллы, кое-что докупалось в Париже. Покупая мебель и раньше, и не только мебель а и всякие другие вещи, покупал просто то что ему нравилось, не разбирая стилей, чтобы было удобно, чтобы зря не загромождало комнату, а имело какую-то цель и создавало удобство и уют.

Как-то он даже сказал: «У меня все в опаровском стиле» — сказал шутя, но про себя думал что именно так и есть, мебель должна быть прежде всего удобной и прочной, а цвета ему нравились зеленый и красный, именно такое сочетание казалось ему красивым, и почему-то не любил синего цвета. Не раз даже задавался этим вопросом, пробовал по теории психоанализа найти откуда у него взялась эта нелюбовь к синему. Так и осталось неясным.

В столовой была удобная мебель, обитая зеленым бархатом, большой дубовый буфет, и у другой стены небольшой шкаф красного дерева, без всяких украшений, но очень хорошей английской работы и с причудами — это был бар с разными напитками.

* * *

Дела были кончены, достаточно денег, и он теперь думал как нужно тратить эти деньги, на что, не жить же в безмыслии, в каких-то забавах и развлечениях, к которым у него уже и не было стремления. О слове *нужно* он не раз вспоминал по письму Мурова, и у самого раньше было только одно *нужно* — создать себе благосостояние и стать независимым; дальнейшее накопление казалось теперь абсурдным — так что же нужно теперь? Муров, ум которого он так высоко ценил, отрицал всякое *нужно* и *нельзя*, и написал это письмо, и последней фразой было: *не ищи любви, полюби сам.*

Копаться в воспоминаниях ни к чему, это признак старости и ухода от жизни когда копаются в воспомина-

ниях, нужно жить только сегодняшним, потому что и будущее под сомнением, его может вовсе не быть — но что нужно сегодня? Валерия ушла от жизни как будто по своей воле, и это единственное непреложное право каждого человека, ушла напрасно, впереди могла быть еще радостная жизнь, ведь жить — это величайшая радость. Теперь слепая Ада — всякая маленькая радость, которую можно ей доставить, будет и его радостью, но как трудно доставлять радости слепому! Трудно или не трудно, но он будет делать все возможное и ее радости переживать как свои.

За жизнь были привязанности, дружеские чувства, влюбленность, но всегда точно с оговоркой и опаской как бы не ошибиться, как бы не быть смешным, а любят ли меня? И вот теперь под влиянием этой фразы Мурова он стал иначе смотреть на отношения к людям, стал требовать любви от самого себя, а не искать любви других. И вот Ада, так случайно вклинившаяся в его жизнь, после стольких необычных и трагических переживаний, она как будто любит его, может быть любит, не нужно докапываться, никогда не нужно докапываться, все меняется — сегодня любит, а завтра под влиянием чего-то или кого-то перестает любить: не надо выслеживать мысли другого и копаться в глубинах его чувств, только свое чувство важно и им можно управлять.

* * *

Аде нравился бар красного дерева. Опаров как-то заметил что она, не зная что ее видят, оглаживала этот шкаф руками, точно изучая его форму, точно стараясь увидеть его слепыми глазами. Он видел это через растворенную дверь из соседней комнаты, затаил дыхание и бесшумно отстранился чтобы она не догадалась о его присутствии.

Ада знала этот бар только по звукам и знакомилась с ним ощупывая его и видимо искала замаскированную кнопку, которой он открывался.

Как-то, когда он подошел к ней неслышно и взял ее

за руку, она вздрогнула и даже чуть-чуть вскрикнула от испуга, не уловила по звуку его шагов на ковре, он теперь понимал как особенны и мучительны переживания слепого. Как-то Ада сказала что ей нравится старый паркет: даже если он покрыт ковром, то все же слышно как по нему подходят. А еще раз слышал как она, входя в комнату где никого не было, спросила который теперь час, ей никто не ответил и спрашивала она только чтобы убедиться что в комнате никого нет.

Раньше он не интересовался жизнью слепых, но теперь много думал об их чувствах и настроениях, он понимал что человек, родившийся слепым, совсем не знает окружающего мира, не может его представить себе, для него существует форма, но красок нет, и цветы ценны ему только ароматные; но ослепший, кто раньше видел окружающий мир и привык к нему, тоже ощупью узнает предметы, даже узнает новые, раньше незнакомые, но только не людей, он не видит их черт лица, ни цвета волос, ни даже роста, и только голос остается в памяти, и более близкими для него оказываются те люди, которых он когда-то видел, хотя бы и давно.

Самым важным остается голос человека и потому Ада просит закрывать окна с улицы, чтобы в комнате было тихо, и тогда она даже издали может узнавать человека по голосу и звуку шагов... И еще более ласковое чувство являлось у него к Аде, и не только к Аде, но и ко всякому слепому.

* * *

Сегодня наедине, у себя в кабинете, он спросил Аду:

«Ты опять пьяна, я давно уже замечаю, почему ты от меня скрываешь, я все равно знаю... Зачем ты пьешь? Ты молода и красива, ты потеряешь свою привлекательность, опустишься».

Говоря эти фразы он обдумывал каждое слово, не хотел говорить что-либо неприятное, но нельзя же допустить чтобы она стала пьяницей.

«Да, последнее время я пила виски, мне нужно одурение в этой постоянной темноте, нужно туманить сознание, а то не выдержу... Я буду пить меньше и это только для тебя; если бы тебя не было теперь рядом со мною то я была бы пьяна с утра до вечера, ожидала бы когда опять стану видеть и тогда перестала бы пить. А если не стану видеть, то...»

В это время старые бронзовые часы на камине стали отбивать тихим звоном четыре четверти и потом другими более низкими звуками шесть часов. Прервавши на полуслове, Ада слушала этот мелодичный звон:

«Как хорошо что есть часы с репетицией и даже у меня в спальне, я нажимаю кнопку и знаю который час... А как же иначе я могу знать который час? Все время кого-то спрашивать! Ты не представляешь себе какой это ужас не видеть даже и циферблата, а о книгах я и не говорю».

«Милая, я понимаю вполне твое состояние и верю что оно изменится, ты снова будешь видеть, но и теперь можно находить что-то приятное, хотя бы этот бой часов» — и чтобы уйти от разговора о ее слепоте, он стал объяснять ей что в этих старых бронзовых часах так называемый вестминстерский бой, но в них к сожалению нет репетиции, а в тех других бой французский, он менее мелодичен, но найдутся часы с репетицией и вестминстерского боя.

«Мисси может читать тебе по-немецки и кое-как по-французски, а по-русски и по-английски я буду читать все что хочешь, только скажи».

Ада сидела на кресле у другой стены кабинета, он тихонько подошел к ней по мягкому зеленому ковру, но так чтобы она все-таки слышала что он подходит, обнял ее и долго так держал обнявши. Ему показалось что Ада тихо плачет, хотя этого не видел, ее лицо было у него на груди.

* * *

Склеп на кладбище был закончен и гроб Валерии перевезли туда. В катафалке было много цветов и Опаров потребовал от похоронного бюро чтобы гроб везли не в

автомобиле, а четверка лошадей, без спешки, и рядом шли бы люди с факелами, хотя было еще светло. Хозяин похоронного бюро потребовал дополнительную плату за лошадей вместо автомобиля, теперь в Париже почти не было лошадей, их съели автомобили, и вместо былого живого стука конских копыт по торцовой мостовой, теперь гудели, скрежетали и отравляли воздух автомобили.

Никто посторонний на похороны приглашен не был, никаких объявлений в газетах. Чин погребения совершал старенький священник-монах из армяно-григорианской церкви, не русский священник. Сделал это Опаров после долгого размышления: уже Прасковья один раз сказала что была в русской церкви какая поближе, и оказалось что это церковь советская и поминают там московского патриарха, который поставлен безбожниками.

Теперь были не просто православные церкви как когда-то, а разных толков — одни под одним митрополитом, другие под другим, а сами митрополиты — один признавал московского патриарха, другой константинопольского, а третий еще кого-то, и эти немосковские патриархи не знали даже русского языка и писали только на каком-то ином, русским непонятном. Между толками жила рознь и доходило до того что покойника не пускали в кладбищенскую церковь если его сопровождал священник другой автокефалии и были даже случаи что прихожане одного толка силой или судом выдворяли из церкви прежних прихожан.

Он ушел от религии своего детства, но ему была горька и печальна эта рознь. И он не хотел приглашать православного священника какой-то определенной церкви, чтобы не подчеркивать свою принадлежность к тому или иному толку. К тому же уже пошли слухи среди русских что его жена покончила самоубийством и что ее нельзя хоронить по православному обряду на русском кладбище.

Склеп был настолько просторен что службу совершали в нем, была уже икона «Богородицы Всех Скорбящих Радости», перед ней горела лампадка, подвешенная на трех цепочках, стоял высокий серебряный подсвечник и в нем

горели десятки восковых свечей, при этом еще по проснувшимся воспоминаниям детства он заказал желтые восковые свечи из натурального пчелиного воска, а не те белые, салящие руки и оплывающие, какими пользуются теперь при богослужениях. Желтые восковые свечи и потрескивали иначе, и запах от них был другой — казалось ему, и густой ароматный дым от росного ладана сделал склеп как будто старинной церковью, и даже еще непросохшие кирпичные стены казались уже покрытыми патиной времени.

Несмотря на необычность обстановки погребение вышло более трогательным чем в современной православной церкви при электрических лампочках и оперных фиоритурах вместо старинного трогательного погребального пения. Старичок священник-монах и псаломщик столько получили за службу что не только благодарили, но священник обещал что целый год на проскомидии будет поминать новопреставленную Валерию.

В склепе были на погребении Прасковья и он сам, никого больше.

Со дня драмы он ни разу не говорил с Адой о Валерии, и Ада не задавала никаких вопросов; от Мисси она знала почти все, знала что в подвале дома стоит гроб Валерии, и Мисси даже предлагала ей пойти туда, но она не хотела, и на погребении теперь не была. На вопрос хочет ли она поехать на кладбище, Ада ответила:

«Мне слепой так трудно теперь во всякой новой обстановке, особенно среди чужих людей, лучше я не поеду... мы с нею в расчете».

Мисси очень хотела быть на погребении, но ей пришлось остаться дома с Адой.

* * *

В доме было радио, но Ада редко подходила к нему, она не видела цифр и названий станций, вертела кнопку, ставила наугад, сердилась на свою немощность и отходила. Был куплен другой дорогой аппарат с кнопками, каждая

кнопка соответствовала определенной станции и можно было ощупью поставить на любую волну. Был граммофон с большим набором пластинок, Опаров хотел чтобы Ада заказывала пластинки какие ее интересуют, все немедленно покупалось, но и радио и граммофонные пластинки ее не занимали: когда она и слушала, казалось что ничего не слышит, думает о чем-то другом.

Раза два были втроем с Мисси в известных парижских ресторанах с дорогой и тонкой едой, но уже после второго раза Ада решительно отказалась от ресторанов, ее смущало что она ничего не видит, берет вместо вилки ложку, неумело режет что-то на тарелке, один раз опрокинула бокал с вином. И дома за столом она кое-что первое время опрокидывала, сердилась и волновалась если вилка и нож оказывались не справа, а слева, хуже всего если кто-нибудь передвигал какую-нибудь тарелку на столе, а она уже раньше ее нащупала.

«Не передвигайте ничего, я и так смешная теперь, а когда я шарю рукой по столу и хватаю не то что хотела, или лезу пальцами в салатницу или соусник, это мученье для меня...»

В ее комнате каждая вещь, даже английская булавка, лежала всегда на своем месте, их не передвигали, Мисси это хорошо знала и стирая пыль внимательно все оставляла на прежнем месте, а Ада говорила что для нее теперь не существует пыли и ей даже удивительно как это люди считают нужным каждый день стирать со всего пыль, она даже вспомнила какую-то книгу, читанную в Берлине, в которой врач высмеивал квартирных хозяек, гоняющихся за пылинками: пока пылинки лежат на полу или на мебели они в дыхательное горло не попадают, а вот когда их сметают они поднимаются в воздух, плавают по комнате и попадают в дыхательные пути.

Даже Прасковья знала уже разговоры Ады о пыли, но никак не могла понять как же это можно не сметать ежедневно пыль, ведь в пыли всякая зараза и в ней блохи и клопы заводятся.

Посетители бывали редко и тогда Ада к столу не выходила, тоже стесняясь своей слепоты, говорила что она смешна для других.

А между тем она по-прежнему была красива и изящна в своих движениях, даже слепых.

* * *

В прошедшие деловые годы не было мысли о том что делать дальше: одна забота естественно выходила из другой, надо было создавать деловые удачи или исправлять неудачи, не было пустот, и мышление не о делах было только отдыхом. События последних лет, начиная со встречи с Валерией, тоже не давали какого-то промежутка для безмыслия, одно вытекало из другого, вплоть до ликвидации дел в Берлине, появления Ады, переезда в Париж и наконец последней драмы со смертью Валерии и слепотой Ады. Даже устройство парижской виллы отнимало много времени, и вот теперь последнее — похороны Валерии, склеп, забота о слепой — а что делать дальше? Надо начисто решать самому, только самому, спрашивать некого. Был большой деловой опыт и такое уменье и прозорливость в делах, что и теперь в новой обстановке ясно видел как можно было бы опять начать какое-то выгодное дело, но мысль о делах была зачеркнута раз навсегда. Надо найти какую-то иную работу для мозга и эта работа должна быть не для наживы, а для чего-то лучшего, более высокого.

Фраза из письма Мурова выступала все ярче, нужно кого-то или что-то любить, только тогда оправдана жизнь и только тогда можно примириться с неизбежным для всех концом. Нельзя любить всех, такую любовь он считал невозможной и абсурдной, можно любить кого-то, несколько людей, но не два миллиарда восемьсот миллионов неведомых существ, он для них ничего сделать не может, бессилен, это все равно что вылить всю эссенцию своей любви в океан; фиал его любви ничтожен в сравнении со всей

человеческой массой: если его вылить в океан, то океан ничуть не изменится, а вот нескольким людям можно дать много, сделать их жизнь счастливее — если не счастливее, то во всяком случае доставить им какую-то хотя бы временную радость. Можно свою любовь отдать какому-то делу, какой-то идее, но такой идеи, которая могла бы захватить и дать что-то всем — у него не было.

* * *

Распорядился чтобы садовник изменил некоторые клумбы в саду, чтобы теперь были только душистые растения, только их прелесть может оценивать человек, лишенный зрения; к тому же Ада любила духи. Пока в саду было только два душистых куста уже сильно разросшихся, лаванда и розмарин, и он наблюдал интересуется ли ими Ада, но пока этого не заметил. Ему самому нравилась лаванда, в розмарине было что-то печальное, что-то вроде запаха ладана, похоронное. Были еще кусты сирени и жасмина, но они цвели недолго и кусты слишком старые, цветы высоко, их трудно достать рукою чтобы понюхать, но когда кусты цвели Ада ни разу не выходила в сад, хотя он напоминал ей что цветет сирень, а потом что цветет жасмин.

Как естественник он знал ботанику, всегда любил цветы, но теперь впервые посмотрел на них с точки зрения слепого; слепому не важна красота цветка, его форма, расцветка, единственно что важно — его аромат. Садоводы получают призы за новую расцветку розы, но эти гибридные розы уже не пахнут как пахнут простые, созданные самой природой без вмешательства людей. Новых запахов цветов не создают, они такие же как были миллионы лет назад. Стал мысленно перебирать какими цветами можно засадить сад чтобы он всегда был ароматен, и насчитал много цветов, годных для нашего климата. С ранней весны ни с чем не сравнимый аромат гиацинтов, потом ландышей, нарциссов, фиалок; а дальше на все лето неистощимые бархатки, такие нетребовательные, до позд-

ней осени цветут и всегда с сильным омолаживающим запахом, а садоводы сделали их высокими, крупными и махровыми, и бархатки потеряли свой природный аромат. Гвоздика всех оттенков и форм, всегда со стойким приятным запахом, очень сильным, непотухающим, даже когда она срезана и принесена в комнату — из царского рода цветов и конкурирует только с розой. Какое-то непонятное увлечение все новыми расцветками тюльпанов, они отцветают в пять-шесть дней и у них никакого запаха. Совсем скромная резеда, а ее аромат слышишь издали; душистый горошек, белый табак, не дающий листов для куренья, но зато всю террасу делающий ароматной до осени, особенно под вечер. Гелиотроп не очень красив, но с запахом таким же сильным как у табака, хотя совсем иным, и разницу нельзя описать словами. Незаменимые по декоративности и долгому цветению красные герани с зелено-зелеными листьями, со стойким запахом, который тоже нельзя описать, и листья пахнут сильнее цветов.

Бьющие в глаза и декоративные всевозможных расцветок, георгины и так любимые японцами хризантемы, слепому не говорят ничего, у них почти нет аромата... Японцы любят цветы по-своему, они не делают больших плотных букетов, в которых индивидуальность цветка утрачивается, они ставят в баночку только два-три цветка, с любовью выбранных, и ими любуются подолгу, и их издавна рисуют японские художники, именно отдельные цветки, а не сдавленные букеты или корзины цветов — лишь бы побольше и пошикарнее. Среди своих дел еще в Петербурге Опаров урывал какой-то кусочек времени и уезжал куда-нибудь, был и в Японии, не мог понять японского художества, но своеобразную любовь японца к цветам понял, и любя цветы никогда не ставил у себя букетов, а только отдельные два-три цветка, их нюхал исподтишка, даже на столе у себя в деловом кабинете — так ставила ему цветы на стол или в автомобиль и Валерия.

Перебирал много других пахучих растений: мимозы, олеандры, магнолии, туберозы, эти необычайно пахучие гавайские цветы, из которых в былые времена плели гир-

лянды и надевали на Гаваях на всякого приезжающего. Но эти растения тропического климата, вместе с орхидеями, для сада не годны в нашем климате, им нужны оранжереи — оранжерей он строить не собирался.

Совсем уже составил как будто полный список пахучих растений и вдруг вспомнил что пропустил ароматные деревья, годные для нашего климата: липу и белую акацию; цветут они недолго, всего какую-нибудь неделю, но зато какой удивительный аромат в эти дни — непременно сейчас же посадить эти деревья в саду! И еще забыл уже как будто и не цветы, но какая сильная наркотическая душистость, когда цветет конопля; южнее, в субтропиках из нее делают одуряющий гашиш — из нашей конопли гашиш не выйдет, но аромат во время цветения такой удивительный и тоже немного опьяняющий. Тут же подумал об опьянении вообще, оно вредно, иногда губит людей, но в нем в то же время и радость жизни, и никогда и никто не отнимет у людей права немного опьяняться и даже одурманиваться в трудных переживаниях.

• • •

Уже почти год прожили с ослепшей Адой в Париже, и все время было старание чем-нибудь ее заинтересовать, чем-нибудь увлечь, но она проводила дни в полном безделье и все перескакивала на свою слепоту. Продолжала, хотя и тайком, ежедневно пить виски. Он запер бар на ключ, а Мисси сказал чтобы она больше не покупала виски, пусть прямо скажет что он запретил.

Сексуальность — одно из важнейших чувств и стремлений в жизни людей, но сексуальность капризна и легкомысленна, иногда она сразу вспыхивает ярким, как будто непогасимым пламенем, но пламя постепенно уменьшается, порой совсем потухает, и любовь, если она остается, переливается совсем в иную форму, создается привычка, близость, общность интересов, взаимное понимание, и тут любовь уже в ином виде может жить очень долго, может оставаться навсегда, даже по смерти того кого любил. Валерия умерла, но он часто вспоминал ее, у нее не было

сексуальности Ады, но она жила его интересами и какие-то свои интересы у нее все-таки были, она любила книги, часами могла рыться в словарях и справочниках, хорошо знала английский язык. Мало проявляла свою инициативу, но стоило ему завести разговор о каком-нибудь литературном произведении, о каком-либо лице или факте из этого произведения, как Валерия доставала из книжных шкафов эту книгу, старалась вспомнить, если забыла из читанного раньше, или прочитывала вновь, даже иногда не говоря ему об этом, старалась пополнить свои знания в разных областях, и потом это сказывалось. Валерии он верил не потому только, что случайно она спасла ему жизнь, и не потому только, что она ставила тайком цветы в автомобиль.

Его мысли, беспокойства и радости были близки и Валерии, с Валерией пришли большие деньги, но тут она ни при чем, это просто случайность, в которой он был главным действующим лицом... Никаких таких черт не было у Ады, она ничем не интересовалась, ее прежние мечты о кинематографе и спортивных рекордах ушли, других не было, все ее разговоры были на мрачном фоне ее слепоты — это создавало печальную атмосферу в доме, и как уйти от этого — он не знал. И думая о дальнейшем не знал как сделать жизнь с нею интересной, к чему-то ведущей, от которой что-то остается. Тут же являлся как и прежде вопрос: а должно ли что-то оставаться? все мимолетно, секунда вечности, мираж — и жила мысль о Валерии, менее яркой чем Ада, совсем не яркой, но в ней чувствовалась искренность, к ней было полное доверие, а Ада все время лгала, лгала ему, самой себе, сама в этом признавалась и признаваясь может быть опять лгала, тринадцать лет жизни там наложили на нее нестираемый отпечаток, и ему было жутко от этого сознания.

Он вдруг решил что должен твердо руководить ею, заставить ее чем-нибудь интересоваться и перестать все окрашивать своей слепотой. Да, это большое несчастье, но люди живут и в несчастье и даже иногда несчастье делает их лучше, заставляет думать глубже и добрее.

* * *

«Любовь к человеку не в том состоит чтобы говорить ему ласковые слова и исполнять его капризы», думал он: «если ребенку дать спички и позволить их чиркать, то он может устроить пожар; и со взрослыми нужно иногда поступать как с ребенком, когда он не понимает что делает».

Сегодня опять от Ады пахло виски, хотя Мисси клялась что виски для нее не покупала. Выяснилось что Ада попросила шофера купить бутылку виски и никому об этом не говорить, и тот купил. Решил сегодня же поговорить с Адой уже иным тоном, остановить это пьянство: ему не понравилось и неподчинение его запрещению.

«Любовь любовью, а все-таки что я сказал должно быть исполнено», заговорила в Опарове старая раскольничья закваска.

После завтрака позвал Аду в кабинет, усадил в кресло и стал говорить:

«Ада, я никогда еще так с тобой не говорил, но принужден так говорить. От тебя опять пахнет виски, ты пьяна. Я узнал что ты тайком посылала шофера, несмотря на мои убеждения и советы. Я не люблю пьяных женщин, слышишь... для меня непереносимы пьяные женщины. Я тоже люблю алкоголь, но пью только красное вино и никогда в жизни не был так пьян чтобы потерять сознание и не помнить что делал... Ты все время говоришь о своей слепоте, это большое несчастье, но оно есть, и с ним надо примириться и пользоваться жизнью как возможно. Но ты и не пользуешься жизнью, ты ровно ничего не делаешь и ничем не интересуешься все ссылаясь на свою слепоту, ждешь когда она пройдет. А если не пройдет? Я не верю в возмездие, понятно и ты не веришь, ты вообще ни во что не веришь как ты сама говорила, но есть люди, которые верят, и ты за свою сознательную жизнь совершала поступки, за которые якобы полагается возмездие... Ты знаешь о чем я говорю: и о том что было там и о том что было здесь, о мышьяке... и там и здесь не все такие как ты, у тебя нет никаких моральных основ, ты способна на лю-

бой поступок, а такие люди не пригодны ни для какого строя. Ты в самых мрачных красках рисовала тамошнюю жизнь, но и там есть думающие и честные люди, с гораздо большими знаниями чем у тебя, там все работают, бездельников нет, ты была хуже других, и можно удивляться что ты уцелела. И здесь ты начала с того что хотела отравить сестру... Тебе был негоден тот строй, и этот тебе не понравился во многом, дело не в строе а в самом человеке, нужно не строй винить а себя... Строй изменяется годами, иногда веками, а себя нужно исправлять немедленно, и ты об этом не хочешь думать. Таких людей как ты зовут паразитами, они вредны окружающим, и себе самим не создают счастливой жизни...»

Он остановился и пристально смотрел на нее, стараясь понять как действует сказанное им. Ничего по ее лицу не было видно, но рука на колене немного дрожала. Ада молчала. Он продолжал:

«Ада, ты видишь что я делаю все возможное чтобы твоя жизнь была лучше, но мои заботы ничего в тебе не меняют, ты ко всему безучастна и продолжаешь пить. Ты ходишь иногда на мессы и думаешь найти какую-то уверенность в существовании будущей жизни, ты так говорила, и если у тебя явится сознание возможности потустороннего существования, то ты тогда покончишь с собой. Все это только детская болтовня, уверенности у тебя никогда не будет, да и при уверенности люди не приходят к самоубийству, скорее наоборот, именно узкое материалистическое миропонимание, по которому все кончается со смертью, скорее может привести к самоубийству. Самоубийством тебе кончать незачем несмотря на твое несчастье, ты поставлена в такие благоприятные условия, тебе ни в чем нет отказа, ты можешь жить и даже более или менее приятно, слепые тоже живут и не кончают самоубийством из-за слепоты... Задумайся над тем что я сказал. Говорить о любви ко всем людям — это играть туманными словами, надо что-то более определенное, хотя бы и ограниченное, хотя бы самое маленькое... Но если человек никого или ничего не любит, то его жизнь бесцельна. Найди

что-нибудь что ты можешь или хочешь любить, делай что-то для этого...»

Он снова остановился, подумал, колеблясь сказать ли и это, и все еще не слыша ни слова от Ады прибавил:

«Я еще больше скажу — твоя слепота неизлечима, ты навсегда будешь слепой, примирись с этой мыслью и все-таки найди радость жизни, а я во всем тебе помогу».

Ада сидела не двигаясь, не сказала ни слова, но плакала.

* * *

После этого разговора дня три Ада не выходила из своей комнаты и даже прогоняла от себя Мисси. Она то лежала в постели уткнувшись лицом в подушку, то ходила по комнате по самому длинному направлению, из угла в угол — так рассказывала Мисси. Он к ней не заходил нарочно, пусть все перебродит, может быть что-нибудь изменится, разговор был тем шоком, каким лечат теперь шизофрению и другие виды психического расстройства.

Все время вспоминал завет Мурова о том что не нужно искать любви других, а самому надо полюбить кого-то или что-то для того чтобы жизнь была лучше — и для себя и для других. Он не хотел создавать для Ады никаких новых неприятных переживаний, но считал что ей необходим шок, иначе она не знает куда девать себя, что делать, да еще к тому же может стать пьяницей — и не сожалел о сказанном ей. О том что она может покончить самоубийством он не думал, говорящие о самоубийстве редко себя убивают, но все-таки револьвер из ночного столика был спрятан.

Ночью он слышал как Ада ходит по комнате, она последнее время и до этого разговора больше спала днем, а ночью бродила по дому, ощупью, не зажигая электричества, но уже уверенно, привыкла, знала хорошо все в доме. Был случай что какая-то дверь была отворена, но не совсем, Ада шла выставивши вперед руку уже по создавшейся теперь привычке, нащупала правой рукой что дверь

отворена и ударилась в ребро двери левой стороной и сильно поранила лицо, с тех пор стала ходить еще осторожнее, а он распорядился чтобы все двери в доме были или заперты или совсем отворены, хуже всего для слепого когда дверь полуотворена.

Наконец Ада сошла вниз, пришла в кабинет, потом завтракали вместе. Ничего не говорили об этих трех днях, как будто виделись вчера, ничего не случилось, но по ее лицу было видно что она и плакала, и много думала, глаза по-прежнему смотрели на него будто она его видела. Завтракали втроем с Мисси и он рассказывал о всяких последних новостях из газет, которых за эти три дня Ада не знала, да и вообще только изредка заставляла Мисси прочитывать кое-что коротенькое в сегодняшней газете.

Вечером Ада опять пришла в кабинет и без всяких предварительных фраз сказала:

«Страшные были эти дни, я много думала, много передумала, и я скажу тебе что без тебя у меня нет жизни, я могу жить дальше только для тебя, только с тобою... В детстве я никогда не говорила правды родителям, а потом тринадцать лет я все время лгала, все время притворялась, иначе я никогда не вырвалась бы оттуда. Нас уверяли что советская жизнь очень хороша, в капиталистическом мире гораздо хуже, там очень многие голодают, но уже тогда я задавала себе вопрос, только себе задавала, потому что никому нельзя было сказать: почему же от нас многие хотят бежать на этот гнилой Запад, а с Запада к нам никто не бежит, хотя могли бы вполне свободно... Каждый ищет лучшего. Я привыкла притворяться и лгать, иначе там жить нельзя, там даже и все писатели притворяются и пишут не то что хотят а то что приказано. Меня даже удивляло почему не уничтожили некоторые произведения прежней литературы, ведь она заставляла нас задумываться и возмущаться теперешней приказной литературой, ее серостью и однообразностью, больше всего о паровозах, землечерпалках и разных рекордах в индустрии. Нужно сжигать себя с двух концов для счастья будущих поколений, которые тоже будут жить в муравейнике. Я попала

в этот муравейник с расстрелами все-таки после детства иного, а большинство так и выросло в этом муравейнике, где все приказано и верь как приказано... Я как-то стала вести дневник, целую тетрадку исписала, но одумалась, сожгла ее — вдруг найдут и узнают что я думаю, не миновать ссылки. Я так привыкла притворяться и лгать, что когда первый раз сказала что люблю тебя, я тоже лгала, никакой любви ни к кому у меня никогда не было... А сейчас после твоих слов о моей слепоте, после этих трех дней мучительных мыслей и полного сознания моей негодности для самостоятельной жизни, я поняла что без тебя для меня нет жизни. Я говорила что мне нужна свобода и деньги, теперь есть свобода и ты мне даешь сколько угодно денег, но теперь мне слепой не нужна никакая свобода и без тебя не нужны и деньги...»

Она остановилась, закрыла лицо руками, хотела встать и подойти к нему, но вероятно подумала что не туда пойдет, за что-нибудь заденет, или обхватит руками кресло а не его и будет смешной:

«Подойди ко мне».

* * *

Ада ушла к себе. Было уже за полночь, но он сидел в кабинете, думал о ее словах, о ее признании что все время лгала ему, и еще теперь может быть тоже лжет, ей нельзя ни в чем верить, она сама себе не верит... Опять фраза из письма Мурова, мудрая фраза, как будто эгоистическая, ведь мысль не о других а только о себе — как самому себе сделать жизнь приятнее, как примириться с трагедией жизни, с западней, в которую мы посажены со дня рождения. Если бы много людей стали так думать и искали бы любви в самих себе, то ведь жизнь всех изменилась бы к лучшему. Как будто это единственный путь, который может привести к счастью людей, все моральные законы, религиозные или философские или из общественного договора, все шатки, сомнительны, а в этом эгоистическом законе нет сомнений и он приведет к морали.

«Не ищи любви других», именно это важно. Когда ищут любви других или даже расположения или уважения, то невольно подлаживаются к ним — льстят им, не говорят совсем правдиво и искренне. А если бы не думать о любви и расположении людей, только в себе самом находить любовь, тогда она совсем правдива и бескорыстна, это высшая форма любви, и пусть окружающие не понимают твоих чувств, тем эти чувства выше и ценнее...

На каминных часах пробило уже половина третьего, а он все думал и думал, и все еще не мог найти как и кого надо любить, но было несомненно теперь что это главное, в этом суть существования и может быть в этом основной мировой закон.

* * *

Уже приехал из Берлина Писанка с двумя мальчиками; как будто тихие и послушные дети, а что дальше — видно будет. Писанка поселился в нижнем павильоне, когда-то это была хорошая и даже красивая постройка, но теперь все было запущено, да и строилось только как летнее помещение, к зиме все будет отремонтировано и устроено центральное отопление. Хотя Писанка совсем не знал французского языка, но с первых же дней стал брать уроки в автомобильной школе, когда пройдет курс заменит прежнего шофера и будет несомненно лучше его, он что-то смыслит в механике, сам может делать мелкие починки, и зрение и слух вполне нормальны, будет застрахован от всяких рисков. Детей сразу определили в начальную французскую школу, с тем чтобы они там проводили почти весь день.

Приехала и фрау Ромель, ей отвели комнату рядом с Прасковьей и Мисси, а потом переселится в павильон Писанки, там пять комнат. Фрау Ромель знала по-русски два-три слова, а Прасковья, несмотря на то что столько лет прожила в Берлине, по-немецки знала еще меньше, но они подолгу оживленно разговаривали и вполне понимали одна другую, и у одной и у другой было очень много материала для разговора. На второй же день после приезда,

не спрашивая даже разрешения, фрау Ромель испекла замечательный торт, всю провизию для него она привезла с собой. Торт был без кремов, она знала что Опаров кремов не переносит, торт был миндально-ореховый с украшениями из цветной глазури, с рогом изобилия, из которого сыпались золотые монетки — их она тоже приготовила еще в Берлине, на монетках были даже инициалы Опарова, точно это с его монетного двора. Такая услужливость и любезность тронула его и он с удовольствием ел этот торт и даже сказал что и впредь всегда будет есть ее торты, и фрау Ромель была счастлива.

И теперь когда ел торт, и не раз позже, он думал что вот как важно что-то любить по-настоящему, хотя бы искусно печь торты, фрау Ромель искренне радовалась когда торт выходил удачным, нежным, вкусным и без закала, всего в нем было в меру, и печка была как раз нужной температуры когда его пекли, не сыроват и не перепекся — это так важно, это дает радость жизни... Какой пустяк торт, мелочь, маленькое, ничтожное, но если это может дать какое-то хотя бы временное удовольствие, это важно и нужно: никак нельзя решить что действительно важно и что пустяки в нашей мимолетной жизни, самые глубокие философские рассуждения не приводят к какому-то разрешению и удовлетворению, а удачный торт уже законченное и цельное и доставило несколько минут приятных переживаний.

* * *

Опаров нередко оживлялся, умел интересно говорить, с ним не бывало скучно другим, но сам он смеялся редко, только улыбался, а смех любил. Теперь в доме почти не было смеха; Ада рассказывала что в прошлом все время улыбалась и часто смеялась, а теперь ни улыбки ни смеха не было.

Сегодня она снова жаловалась как ей трудно ходить по дому, хотя уже знает расположение комнат — где двери, где какая мебель; а вот сегодня сошла вниз из своей спальни и забыла что уже внизу. Она уже точно знает

сколько шагов от двери до дивана или буфета или другой двери и потому ходит как будто уверенно, а сегодня думала что еще у себя наверху и наткнулась на острый край буфета в столовой, разбила до крови лоб.

«Не могу же я ходить все время выставивши обе руки вперед, точно плаваю, это смешно для других, смешно и мне самой... какая я несчастная».

Уже начинали утомлять эти постоянные жалобы Ады, подчеркивание ее слепоты. Но он по-прежнему терпеливо и ласково относился к этим нескончаемым причитаниям. Было другое с чем он не мог примириться — Ада по-прежнему пила. Было даже загадочным откуда она достает спиртное и именно виски: деньги у нее были, но кого она посылает? Она ведь не выходит на улицу, а Мисси клялась что спиртного не покупала. Уже несколько раз Ада и не скрывая говорила Опарову:

«Платон, я не могу жить без алкоголя, сколько-нибудь непременно давай, иначе я голову разобью о стену».

Она говорила что хочет ему во всем помогать, но какую работу можно было ей дать, переписывать она не могла, что-нибудь разбирать в библиотеке и приводить в порядок не могла, от посетителей бегала, ни с кем чужим не хотела говорить, все время была недовольна Мисси, хотя та изо всех сил старалась ей угождать.

«Слепой лишен очень многого, но зато слепой может и должен думать вдумчивее, глубже чем зрячий человек. У зрячего под влиянием постоянных зрительных впечатлений мысль скользит по поверхности, с одного на другое, ему трудно сосредоточиться и думать о чем-то определенном, долго, до какого-то решения или вывода — это преимущество слепоты... Чем ты можешь теперь заниматься — трудно найти, но думать можешь также свободно как и зрячий и думать глубже его. Думай, ты умная. Знаний у тебя мало, пополняй их, я тебе буду помогать, наймем любых чтецов, я заказал диктафон; когда хочешь, может быть ночью, подойди к нему и говори что хочешь, а потом кто-то это перепишет, прочтет тебе, вычеркнешь что не надо, но что-то останется».

* * *

Все дела были закончены, но все-таки приходилось уезжать из дому в банк и к адвокату, чтобы караулить созданное — уехал на несколько часов и сегодня.

Нарастали экономические кризисы в одной стране или в другой, и самое верное помещение капитала вдруг оказывалось сомнительным под влиянием новых событий и правительственных распоряжений. Вспомнились слова старого дельца, который говорил что наживать деньги довольно трудно, особенно вначале, но еще труднее сохранить их и пользоваться ими с толком, нужно думать и о конце, оставить ли что-то кому-то или для чего-то, или же к концу жизни все истратить, а иначе будут драться на твоей могиле самозванные наследники.

Вернувшись домой он был сразу приятно удивлен, Ада встретила его на подъезде с улыбкой, что было совсем необычно, казалась оживленной, но тут же заметил что она снова пьяна.

«Ада, ты опять пьяна?»

«Да, я пьяна и потому жизнь не кажется мне такой печальной и безысходной, через несколько часов это пройдет, но сейчас лучше».

«Что ты пила, откуда ты взяла алкоголь? Ты опять кого-то посылала за виски?»

«Я несколько раз говорила тебе что за много лет жизни там привыкла все время лгать. Иногда даже бывало что лучше бы сказать правду, но так привыкла к скрыванию своих мыслей что и тут зачем-то лгала... Но теперь я говорю тебе правду, в ванной комнате есть шкафик с разными медикаментами, и там я нашла бутылку спирта и этот спирт я выпила».

«Ты пила спирт?»

«Я его разбавила водой, это все равно, но сейчас мне немножко радостнее, не мешай мне опьяняться, все равно чем, я должна уходить от мысли что я безвозвратно слепая, что для меня нет больше радости жизни, нет никаких надежд...»

Он не стал упрекать ее, сейчас ее настроение было действительно лучше обычного — той безразличности и меланхолии, в какой она была уже столько времени, почти сплошь после того как он сказал что она навсегда останется слепой. Понял что просто запрет алкоголя для нее не излечение, не выход из ее теперешнего состояния.

О чем-то дальше говорили, не упоминая больше что она пьяна и несколько часов Ада была как будто в хорошем настроении, а потом ушла в свою комнату, заперлась и никого к себе не пускала.

* * *

Он поехал к тому известному специалисту по мозгу, который тогда был приглашен в клинику, когда ей делали операцию, записался на прием, но сказал что он не больной, но просто просит дружеской услуги, просит его приехать как врача для осмотра Ады. С необходимым обманом, как будто он окулист и хочет осмотреть ее глаза, а в действительности, поговоривши с нею, выяснить ее психическое состояние: возможна ли какая-то мозговая операция, можно ли поместить ее в специальную клинику где лечат алкоголиков или это бесполезно.

Врач, хотя просьба была совсем необычна, согласился, и на следующий же день приехал на виллу как офтальмолог. Ада не могла узнать его, она тогда была уже без сознания или в полусознании, но и в полном сознании слепой не запоминает внешности людей, запоминает только голос.

Врач приехал и оказался не только врачом специалистом по мозгу, но и человеком вполне понимающим что тут происходит, чем он может помочь. Для виду он осматривал ее глаза, но это было только камуфляжем, умело это проделал, старался выяснить психическое состояние Ады.

После хорошего завтрака — фрау Ромель особенно постаралась — тонкого вина, старого коньяку, гаванских сигар из большого ящика с зеленой наклейкой, и умелого разговора — к тому же был уплачен щедрый гонорар — врач стал не только врачом, но и близким знакомым. Торт

фрау Ромель ему особенно понравился и он сказал что никогда не ел такого вкусного.

Наедине в кабинете он высказал определенное мнение что лечить эту молодую красивую женщину от алкоголизма было бы абсурдно, да и невозможно, она не потому в таком меланхолическом настроении, что пьет алкоголь, а ищет его потому, что у нее меланхолия, очень трудная для лечения форма психического расстройства, и даже вполне ясна причина — ее слепота, крушение всех ее надежд и желаний. Опаров предлагал врачу ряд вопросов о всяких одуряющих. Уже много лет книга немецкого профессора Левина «Фантастика» лежала у него на полке, он и сам раньше бывал в таком психическом состоянии что готов был прибегать к каким-то средствам, уносящим от действительности, от окружающего, в мир фантазии или безразличия. При этом научно-дружеском разговоре со специалистом пришлось прийти все-таки к заключению что из всех одуряющих лучшее алкоголь — не морфий же, кокаин или героин, или настойка мухоморов!

«Не думаете ли вы, профессор, что возможна какая-нибудь мозговая операция? Вероятно пуля коснулась не только зрительных нервов, но может быть повредила и другие, сдвинула их что ли? Ведь теперь делают мозговые операции и даже иногда с успехом, если верить тому что я читал».

Врач сделал неопределенный жест рукой и со сдержанной улыбкой ответил:

«Я сам делаю мозговые операции, хирурги вообще любят делать операции. Но при всякой операции есть известный риск, а мозг самая сложная часть нашего организма и изучен он еще весьма мало. Мы разделяем мозг на отдельные участки и считаем что какая-то часть заведует чем-то определенным, а в действительности все это сомнительно, и я решаюсь на мозговую операцию только в крайних случаях, когда никакое лечение не возможно; тогда идем на риск — а может быть все же выйдет что-то хорошее. Лечение шоками очень болезненно для пациента

и тоже не всегда ведет к улучшению, в данном случае я не решился бы ни на какую операцию или шоки».

Опарову понравился откровенный разговор врача, было условлено что он через некоторое время опять приедет на завтрак под видом окулиста.

* * *

Ада как-то сказала что ей всего приятнее слушать русское чтение, хотя она знает и другие языки, — свой родной всегда ближе и понимаешь все его оттенки, что ускользает в иностранных словах. Он решил дать объявление в две русских газеты, что нужна молодая образованная чтица, знающая русский и английский языки, на хорошее жалованье, и поручил Мисси отвезти это объявление в газеты. Тогда Мисси совсем неожиданно рассказала что она дочь пастора, никогда раньше этого не говорила, не может ли она выписать его в Париж и вот он будет чтецом при Аде.

Опаров никогда не интересовался родственниками Мисси, ему это было безразлично, важны родственники жены но не конторской служащей, нужна была ее расторопность и сообразительность, уменье быстро писать на машинке, знание стенографии, немного других языков — и все это у нее было. О ее частной жизни он не думал, это была девица современного Берлина со всеми чертами жизни большого города, но никак нельзя было предположить что она дочь пастора. Для его дел нужны были люди годные и умелые, все остальное не важно, а теперь он думал что и вообще такие люди особенно ценны, только на одной показной доброте и искренности далеко не уедешь.

Видя что Опаров сразу не возражает, Мисси стала еще подробно рассказывать:

«Мой отец был несколько лет пастором в России, он хорошо знает русский язык и несколько других языков, также английский и французский, он очень образованный человек. В Риге он женился на местной барышне латышке,

но она умерла вскоре после моего рождения, он очень горевал. Мы прожили еще года два в Риге, но его проповеди не понравились властям, и нас выслали в Германию. Сначала мы недолго жили в Кенигсберге, а затем все время в Берлине, отец целыми днями работал, делал всякие переводы, но жили мы бедно. Он давал мне уроки пока я не поступила в школу, много занимался со мною, но я не очень хотела учиться, всё старалась уйти из дому и проводить время с подругами... Моей матери я совсем не помню, знаю ее только по фотографиям, отец постоянно говорил что она была очень хорошая женщина. Отец совсем одинок, и теперь при гитлеризме его лишили прихода и вероятно арестуют за его антинацистские проповеди, за осуждение травли евреев. Он сейчас в очень тяжелом положении, несколько раз писал мне об этом».

Мисси еще добавила что она получает такое большое жалованье и может помогать отцу, а ему можно платить совсем немного, как самой обыкновенной чтице. Она уверена что ее отец такой воспитанный и образованный человек что понравится. Понятно что он будет жить где-то отдельно и приходить только в назначенные часы. Он совсем не похож на обычного пастора, который хочет чему-то учить и все время ссылается на Священное Писание, он человек вполне свободного мышления, за это его теперь и преследуют в Берлине.

Опаров сказал что подумает до завтра, объявления в русских газетах не были сделаны, и назавтра Мисси написала отцу чтобы он скорее выхлопотал визу и приехал в Париж.

* * *

Недели через три он уже появился в доме Опарова, и тоже совсем неожиданно оказалось, что Ада не отказывается с ним разговаривать, а по-русски он говорил совсем свободно и правильно, хотя иногда и вставлял слишком торжественные слова, делал неправильные ударения и Аду это как будто развлекало. По выбору самой же Ады были назначены часы когда он будет приходить читать русские книги.

Внешность отца Мисси тоже оказалась неожиданной, он совсем не был похож на пастора: небольшого роста, ниже Мисси, худой, бритый, с длинными седыми волосами, в черном сильно поношенном сюртуке со штопками, но тщательно вычищенном и разглаженном, в белом воротничке с черным галстуком. Часто в разговоре улыбался, была только пасторская привычка говорить внятно и размеренно, точно с кафедры, но содержание его беседы вовсе не было проповедническим, ни одной ссылки на Священное Писание. Он рассказывал о последних событиях в Германии, мрачно смотрел на происходящее, возмущался, говорил как на Унтер-ден-Линден жгли костры из книг под гиканье толпы какой-то небывалой ранее молодежи, не понимал как это она могла так измениться, так одичала... Говорил что восемнадцатый век прошел под знаком французской культуры, а в девятнадцатом место Франции заняли Англия и Германия. В литературе, в философии, в музыке, не говоря уж о технике, Германии принадлежит первое место, а вот теперь наследники Канта, Гёте, Шиллера жгут костры из книг, как какие-то дикари, может быть разобьют памятник Гуттенбергу. Омар сжег александрийскую библиотеку, полагая что все есть в Коране, а то чего там нет не нужно. А теперь вместо Омара Гитлер...

Опаров с удивлением слушал слова этого необычного пастора, — он становился ему интересен — и уже не жалел что выписал его из Берлина. Оставалось только под вопросом как поладит с ним Ада, что он будет ей говорить, хотя бы исподволь, какое влияние он на нее окажет, вообще где скажется в нем пастор. Даже при самом либеральном свободном мышлении он все-таки должен же настаивать на христианской морали, а Ада выросла в советской обстановке, антирелигиозной и антихристианской.

* * *

Прошло две недели, может быть три. Никто дней не считал: когда жизнь течет однообразно, совсем одинаково изо дня в день, забывают сколько прошло времени.

Пастор ежедневно что-то читал Аде, Опаров не спрашивал что они читают, один раз только видел что на столе лежит открытый том Достоевского — «Бесы», и в нем была закладка на тех жутких страницах где описывается самоубийство Кириллова. Он нарочно не спрашивал что они читают, и ни Ада ни пастор не рассказывали.

Вышло теперь так, что почти каждый день пастор бывал за завтраком, казалось что это приучает Аду к посторонним людям, от которых она бегала, а пастора она как будто не стеснялась, к тому же рядом всегда сидела Мисси и угадывала движения ее рук. Все-таки хотелось переговорить с пастором наедине, нельзя это было сделать дома, Ада была слепая, но слышала хорошо, у нее был даже обостренный слух. Надо было условиться встретиться с ним где-нибудь вне дома, и Опаров сказал что хочет заехать к нему в гостиничку, посмотреть как он там устроился. Оказалось что гостиничка самая бедненькая и грязная, со скрипучей деревянной лестницей и запахом кошек и капусты, а комнатка была такая маленькая полутемная, что тут же он предложил пастору найти что-нибудь лучше и сказал что в дополнение к его жалованью будет платить за комнату.

Долго наедине говорили, разговор был еще неожиданней нежели необычная внешность пастора, и еще более неожиданный чем прежние короткие разговоры с ним.

«Вследствие разных обстоятельств я стал протестантским пастором. Это вовсе не значит что я протестантизм считаю самой лучшей религией, религии необходимы людям и все религии хороши. Важно только что у всех религий есть Бог, а Бог это потусторонняя жизнь, не может быть Бога без потусторонней жизни, иначе он ни к чему. Потусторонняя жизнь значит возмездие, на этом можно строить мораль...»

Пастор говорил спокойно и отчетливо, как будто все эти фразы у него давно уже были готовы и он в них не сомневался. Он продолжал:

«Я не думаю что звание пастора или какого-нибудь другого духовного лица делает его посредником между

людьми и Богом, и никаких особых прав отпускать и разрешать грехи у нас нет. Главная роль всякого духовного лица совсем не в том чтобы проповедовать какие-то догматы какой-то религии, духовное лицо это что-то вроде сестры милосердия, которая должна перевязывать раны и утишать страдания и приносить надежду. Бог, которого преподают в школах по учебникам, редко остается в душе у мыслящего человека, а часто эти религиозные легенды уводят от идеи Бога. Роль пастора очень важна и нужна людям, но к сожалению многие духовные лица этого не понимают и ограничиваются цитатами из Священного Писания. Кроме христианского Писания есть много других, и каждая религия думает что у нее настоящее откровение. Откровений никогда не было и не может быть, откровение в нашем мышлении, данном нам Богом».

Пастор еще долго говорил на эту тему, Опаров внимательно слушал, и этот пастор все больше и больше ему нравился. Уже долго говорили и наконец разговор перешел на Аду — что она хочет читать, чем интересуется, какие книги она выбирает, слушает ли с интересом или просто отсиживает положенные часы, ею же назначенные. На эти вопросы пастор ответил даже с некоторым смущением, как будто ему несвойственным. Она слушает, но видимо мало интересуется тем что он читает, сама не знает какую книгу хотела бы читать, а он не знает что ей предложить, не может понять чем ее можно заинтересовать. О религии они не говорят, только раза два она поставила ему прямо и как будто не к месту вопрос: «А после смерти есть другая жизнь?» Недавно при чтении какой-то книги она даже заснула, а в другие дни ему иногда кажется что она делает вид что слушает, а ей совсем безразлично о чем он читает.

После небольшой паузы, точно припомнивши, пастор сказал: «Ада Львовна спрашивала меня какие есть романы или повести о слепых, и на каких языках, и я не мог ей сразу ответить. Случайно я помнил что есть русская повесть Короленки «Слепой музыкант», раньше я ее читал только по-немецки, взял из вашей библиотеки и прочел, но

не знаю стоит ли это ей читать. Я уже пробовал справиться в Национальной Библиотеке какие есть беллетристические произведения о слепых в мировой литературе и ничего подходящего не мог найти».

Опаров помог ему, сказал что насколько он знает, о слепых очень мало произведений, об их внутреннем мире, об их переживаниях; что он уже тоже интересовался этим вопросом. Может только сказать что вот у Диккенса есть повесть «Сверчок на печи», есть жуткий рассказ «Слепой» у Мопассана, у Уэльса есть фантастический рассказ «В царстве слепых», но все эти произведения не только не утешат слепого, а могут повергнуть его в еще большую печаль и более глубокое сознание своей обделенности. Лучше ей этого не читать.

Еще немного подумавши, добавил:

«Да, вот тоже совсем неожиданно, у энциклопедиста Дидро есть рассказ о математике, слепом от рождения, но рассказ очень скучен и не внушает доверия, надуманный... лучше не читать ей этих произведений, это писали зрячие о слепых, и их внутреннего мира они не знают. Упомяните ей как-нибудь лучше о Гомере, который был слепым и создал величайшее литературное произведение; английский поэт Мильтон тоже был слепой. Писатель поменьше но все-таки оставивший что-то будящее мышление, Аксель Мунте тоже был слепой и слепым дожил до преклонного возраста, вполне сохраняя жизненную энергию и яркость мысли».

После этого долгого разговора Опаров уехал от пастора вполне к нему расположенный, и в то же время с еще более укрепившейся уверенностью что изменить меланхолические и безнадежные настроения Ады невозможно.

Все-таки оказалось что пастор прочел ей какой-то рассказ о слепом и Ада сказала что о переживаниях слепого может писать только сам слепой, все что могут написать зрячие наивно и глупо.

• • •

Пастор уже ушел, а Мисси с утра не было дома, Ада отпустила ее на весь день до обеда. На-днях был разговор о том что нужно непременно дать Мисси выходной день «даже у любой судомойки или подметальщицы есть свободные дни, а Мисси сиднем сидит с тобой с утра до вечера, она не заявляет претензий, но несомненно ей скучно, и она все-таки не судомойка, с известными знаниями и запросами».

«Понятно она не судомойка, она и тебе может помогать много больше чем я слепая... если бы не ты, она давно отказалась бы дежурить при мне, но от тебя она не уйдет», иронично, даже с какой-то злобностью ответила Ада, однако в результате этого разговора сегодня утром она сама предложила Мисси уйти на целый день.

Опаров сидел у себя в кабинете, Ада неслышными шагами вошла, приостановилась:

«Ты здесь? ты сидишь за своим столом?»

«Я в кресле около дивана».

Уже уверенными шагами она подошла к дивану, села и протянувши руку коснулась его рукава.

«Я хочу что-то сказать тебе, уже который день хочу и все не решалась. Ты мне говорил что у слепого остается возможность более глубоко думать, что его мысли не рассеяны под влиянием постоянных зрительных впечатлений, и я припомнила, или где-то читала раньше, или это ты мне сказал, что какой-то умник написал: «Я думаю, значит я существую». Какая ерундистика! Возьми булавку и уколи руку, будет больно, значит существуешь; какой ерунды наболтали эти философы: люди существуют и вовсе не думая. И зачем думать особенно глубоко, чем глубже тем хуже, тем безотраднее и трагичнее вот для такого слепого как я, ничего впереди кроме презренного существования... Я привыкла лгать, не раз уже тебе это говорила, я сама не знаю когда говорю настоящую правду, потому что сегодня это правда, а потом становится ложью... Ты зрячий и потому никогда не можешь понять переживания слепо-

го; ты знаешь, я хотела бы чтобы ты тоже ослеп, только тогда ты мог бы понять меня».

Ада остановилась, как будто смотрела на него в упор, но только чувствовала где его глаза, только догадывалась. Он молчал, просидели некоторое время беззвучно.

«Вот если бы сразу все люди ослепли, стали бы такими же инвалидами как я, они не могли бы смотреть на меня презрительно, все были бы такие и лучше понимали бы друг друга. И вот когда я умру, чтобы все тоже умерли, чтобы кончился мир, ничего бы больше не было...»

«То что ты говоришь — чистейшая болтовня или беря твое слово — ерундистика. От того что тебе приходят в голову такие абсурдные мысли ровно ничего не изменится, все останется как было, и нам неизвестно на сколько времени, на вечность или на какой-то срок, и чем больше таких мыслей тем твоя жизнь будет хуже; не злись, злобность и ненависть только ухудшают твою собственную жизнь. Жизнь всех людей стала бы много лучше если бы они перестали злобствовать и кого-то ненавидеть; ничего не изменишь, психика неразрывно связана с физиологией, от мрачных мыслей и особенно злобствования является болезненное состояние, а в больном организме рождаются мрачные мысли! Брось всё это, я не читаю тебе педагогических наставлений, просто как твой друг, близкий тебе человек, искренне желающий сделать твою жизнь лучше, советую примириться с тем что есть, что случилось, чего изменить нельзя. Иногда утешают человека тем что другим еще хуже, это наивное утешение, человеку не лучше от того что другим еще хуже, но все-таки при всем твоем несчастье у тебя есть многое чего нет у других, ты окружена полным комфортом, почти любой твой каприз может быть выполнен... Тебе кажется смешным что глубокое мышление может доставлять радость и наполнять смыслом жизнь; не нравится, не хочешь — так не думай, но только не злобствуй, прогони от себя ненависть, радуйся возможным пустякам, а может быть постепенно поймешь что есть радость в мышлении, может быть у тебя явится желание записывать твои мысли. Время быстрее всего проходит или

во сне или в напряженном мышлении, и как после хорошего сна так и после напряженного мышления является хорошее настроение, неизвестно почему, само собой...»

«Я хотела бы тебе во всем помогать, но не нахожу в чем, я слепая ни в чем не могу быть тебе полезна... Все мое сексуальное чувство я отдала тебе и отдаю по-прежнему, но мне кажется что ты уже не так переживаешь это как раньше, может быть ты иногда иронически улыбаешься при близости со мной, я ведь не вижу, не знаю, меня теперь можно так легко обманывать и дурачить...»

Он прервал ее:

«Не говори ерунды Ада, сексуальные эмоции и даже экстазы переживают обычно в темноте, твоя слепота тут ни при чем...»

Закончил на фразе «твоя слепота тут ни при чем», и сейчас же подумал что надо было сказать еще что-то, что-то более ласковое, подтвердить что его чувство остается прежним. Ему показалось что при последних его словах Ада как будто подвинулась на диване ближе к нему, точно хотела еще лучше слышать что он скажет дальше, а он ничего больше не сказал. Может быть и сказал бы, если бы не начала снова говорить Ада:

«Вот вернулась Мисси, скажи чтобы принесла нам виски-сода и пусть сама непременно выпьет с нами. Она сделает все что ты ей скажешь; сама выпить не дура, но если бы ты ей приказал выпить керосину она тоже выпьет».

* * *

Долго не мог заснуть, мысли неотвязчиво лезли в голову: что делать с Адой, как ей помочь и что делать с самим собой, как дальше устроить свою жизнь?

Пробило уже два часа, пробило половина третьего, все не спал. Решил посидеть в кабинете, может быть тогда заснет. Надел халат, тихонько сошел вниз, все в доме спало, и в комнате Ады не слышно было шагов, как бывало раньше иногда. В кабинете на столике в углу лежали две неразвернутые пачки книг, вчера полученные из Англии,

стал их распаковывать. Все время выписывал много книг и журналов, но не все успевал прочитывать, подержать новую книгу в руках уже доставляло удовольствие. В книжных шкафах все было заполнено и часть книг лежала на полу соседней комнаты. Когда-то читал и беллетристику, особенно классиков русских и иностранных, но в последние деловые годы были книги по экономике, финансовым вопросам, частью и философские — теперь они стояли на полках и ими уже не интересовался. В полученных пачках были книги по психологии и особенно о мышлении вообще, их читал больше других, все искал смысла жизни. Как надо думать — он знал и без книг, давно это усвоил: не отскакивать от намеченной идеи, непременно доводить ее до конца; и никак до конца доводить не мог, решения не находилось...

Надо делать что-то такое в чем найдешь удовлетворение для себя и что-то хорошее для других. Мы в западне, рождаемся для того чтобы умереть, в западне только одно отверстие — смерть. А что за этим отверстием, ничто... Ничто или что-то светлое и радостное или темное и страшное? С этой неизвестностью надо примириться и в оставшиеся годы жизни надо делать что-то самое нужное, но что?

На каминных часах пробило три, четверть четвертого — ночью часы бьют громче и отчетливее.

Не найдя никакого ответа на свои мысли, — все-таки решил что теперь заснет, пошел наверх и действительно заснул.

Был уверен что каждую ночь снятся сны, но большинство забывается, только некоторые помнишь когда просыпаешься, и эти потом долго вспоминаются. Давно уже интересовался разными теориями о снах, но пришел к убеждению что ни одна из них ничего не объясняет.

Крепко заснул, и приснился сон, который надолго запомнился: на двери висит полость из рыжей кошмы, обшитая кожей, такая висела в родительском доме на входной двери... на кушетке лежат несколько меховых шкурок, соболь и белка, это меховая ярмарка в Ирбите... но

это не родительский дом, такой большой комнаты там не было и такой кушетки не было, она обита зеленым рисунчатым плюшем, такая стояла в комнате Валерии... но это и не комната Валерии в Берлине, потому что в окно виден зеленый луг а не лес... у дальнего окна стоит красивая молодая женщина, она повернулась к нему, улыбается и тихой неслышной походкой, но очень быстро подходит, обнимает и целует... такой знакомый запах духов «Луч Авроры», это Китти, что тогда несколько дней гостила у него в Петербурге... она говорит что только сейчас прилетела на аэроплане с острова Фиджи, так хотела скорее его видеть, нужно рассказать что-то очень важное для него... в это время три громких удара или выстрела...

Он проснулся и слышит что кто-то легонько стучит в дверь:

«Кто там?»

«Извините Платон Григорьевич, тут телеграмма с обратной распиской, почтальон требует непременно вашей подписи» — это голос Мисси. Он отворяет дверь, рядом с Мисси стоит Прасковья, еще только семь часов утра, почтальон так рано принес телеграмму, Прасковья не поняла что он требует и разбудила Мисси.

Телеграмма с обратной распиской из Гонолулу от местного нотариуса: умер Муров и согласно его завещанию уже сожжен, а урна с пеплом завещана Опарову; но кроме урны осталось большое имущество и главным наследником является тоже он. Нотариус предлагает без задержки приехать в Гонолулу.

Телеграмма взволновала — не потому, что тут был какой-то денежный интерес, но память Мурова была ему так дорога, ни один человек за всю жизнь не оказал на него такого влияния, они встречались не так часто и не подолгу, но если перебирать в памяти всех людей, с какими общался за жизнь, то самым ценным был Муров; и если он оставляет ему какое-то завещание, как будто совсем чужому человеку, то может быть и Муров считал его самым близким, хотя никогда этого не говорил.

* * *

Решил сейчас же ехать в Гонолулу. Всегда принимая какое-нибудь важное решение он колебался, передумывал, не спал ночь, но здесь колебаний не было, надо сейчас же ехать. Последнее письмо Мурова было из какого-то городка в Перу, а теперь, как всегда неожиданно, он оказался на Гаваях и тут умер. Если бы он умер не на Гаваях а в Пунта-Аренас на Огненной Земле или в Хобарте в Тасмании, или даже в верховьях Амазонки — все равно поехал бы.

Самое быстрое сообщение — аэропланом, и мысль о нем сразу пришла, но были такие неприятные и зловещие переживания при последнем перелете из Базеля (к тому же всего несколько дней назад какой-то большой четырехмоторный аэроплан упал в океан около Азорских островов и все пассажиры погибли), что решил ехать пароходом и послал телеграмму в Гамбург, так как через два дня оттуда отходил в Нью-Йорк большой германский пароход.

Поездка займет больше месяца, может быть два, а как же оставить Аду? Трудно и обременительно взять ее с собой для такого путешествия, с нею должна ехать и Мисси, но все-таки предложил ей поехать вместе. Понимал все трудности такого путешествия со слепой, но так жалко было оставить ее в Париже, несомненно ей будет тоскливо без него, искренне хотел взять ее с собой, но Ада на все уговоры ответила решительным отказом:

«Я не поеду, не предлагай и не уговаривай, я не хочу быть смешной с чужими неведомыми мне людьми, ты до сих пор не понимаешь переживаний слепого».

Решил ехать один. Когда было решено, собирался быстро. Сделал дома все необходимые распоряжения, поехал в банк чтобы дать там приказ относительно выдачи денег, оставил каждому достаточно — а даже если окажется мало, то ведь из любого места на земном шаре можно заверенной телеграммой сделать распоряжение, лишь бы было

чем распоряжаться — и вот у него к счастью есть эта возможность.

Вернувшись домой из банка, он увидел в передней что в углу за вешалкой сидит Мисси, точно спряталась от кого-то, и как будто плачет. Никогда этого с нею не бывало, она плакала только один раз при том разговоре о ключах, еще в Берлине, и вероятно тогда плакала актерствуя.

«Что с вами, Мисси», подошел к ней, она как будто не слышала его шагов, вздрогнула при его словах.

«Так, ничего», вполголоса ответила она.

«Не ничего, что-то случилось, расскажите всё».

Мисси протянула руку, дотронулась до его рукава и тихо сказала:

«Фрейлейн Ада сказала чтобы я убиралась вон...»

«Ада так сказала? Почему, что произошло?..»

«Она спросила где её сумочка, я ответила что на красном столике, и она тогда стала меня ругать и сказала что такой дуры ей не нужно».

Мисси явно была очень взволнована, на глазах были настоящие слезы, он не стал дальше расспрашивать, а пошел в комнату Ады и только поздоровавшись сразу спросил:

«Ты выгнала Мисси, что она сделала?»

«Эта дура до сих пор не понимает что я слепая, она говорит что положила на красный столик, а разве я вижу какого цвета столик... это издевательство над слепой, это круглый столик для меня, а не красный... зачем мне такую дуру?»

Он рассердился, давно уже не говорил таким тоном с Адой; твердым, не допускавшим возражений голосом, сказал:

«Надо думать прежде чем говорить. Ты не имеешь права так оскорблять человека, который тебе служит и без которого ты не можешь обойтись. Я уезжаю, а ты что же останешься одна с Прасковьей? Мисси тебе необходима. Все предупредительны к твоей слепоте, всеми способами стараются чтобы ты забывала о своем несчастье, а ты этого не понимаешь и не ценишь... ты не имела права

так разговаривать, что ты будешь делать если она действительно уйдет?»

Ада понизила тон и точно колеблясь, подбирая слова, ответила:

«Она может уйти от меня, но никогда не уйдет от тебя... никогда не уйдет из твоего дома».

«Ты должна извиниться перед ней, я этого требую», приказательно сказал Опаров.

К вечеру Мисси опять была около Ады. Он не знал был ли между ними какой-либо разговор, но было несомненно что Мисси останется и он может спокойно уехать. Все-таки остался неприятный комок, и он уезжал в каком-то тревожном настроении.

* * *

Нисколько не жалел что решил ехать по морю, давно не был на океане; путешествие на аэроплане ничего не дает, никаких впечатлений кроме качки и сырого тумана в облаках, а морское иногда много интереснее того порта куда едешь. Вспомнил свой долгий переезд на японском пароходе из Иокогамы в Гонолулу, одиннадцать дней в океане, все океанская беспредельность, без точки земли на горизонте, небо и ничего больше, величие природы и сознание собственного ничтожества; метеорит, упавший в океан как будто недалеко от парохода, на несколько секунд прорезавший ночную тьму — это было тогда в семнадцатом году, когда он уезжал из родной страны, боясь кровавой бани, но с полной уверенностью что через год-полтора вернется в любимый Петербург и снова настанет мирная жизнь, даже лучшая чем до переворота. Не вернулся.

Шесть дней переезда по океану, из Нью-Йорка поездом в Сан-Франциско, и отсюда опять на пароходе в Гонолулу. Много передумал за эти дни, и все время в памяти была фраза Мурова: «не ищи любви, полюби сам», и только еще не мог ясно оформить эту любовь, как это нужно любить и кого. Ясно было одно, что в этом чувстве любви главное в жизни человека, главное не потому, что так

предписывают религиозные догматы, а потому, что в этом счастье прежде всего для самого себя, а в то же время и для других.

* * *

Он был в Гонолулу двадцать лет назад, тогда месяца два прожил там, в этом райском климате Тихого океана, с вечной весной. Хорошо помнил двухэтажный отель на Вайкики-бич, Моана-отель с большой деревянной столовой на сваях, под полом которой вечно шуршали камушки, обточенные за тысячи лет плавной, длинной волной океана, а наверху в столовой играл во время обеда певучий гавайский оркестр, с его музыкальными инструментами, не похожими ни на какие другие и с мелодиями тоже совсем особенными, рожденными здесь на Гаваях. На приезжих надевали большие ожерелья из пахучих цветов, «леи», а ночью он ездил к городскому парку с изгородью из кустов цереуса, с невиданно большими белыми сильно ароматными цветами, расцветавшими только в полночь.

Это осталось ярко в памяти от тогдашнего Гонолулу, теперь все изменилось. Отеля Моана больше не было, не было и того большого сарая, в котором стояли тогда совсем особенные гавайские лодки, в котором бродила тень Джека Лондона, целые месяцы проводившего здесь на биче в постоянном опьянении и восторге творчества. Теперь все тут занял многоэтажный новый отель, такой же как во Флориде, в Сан-Франциско или самом Нью-Йорке, не было прежнего очарования экзотики, но климат был тот же, такой же благодатный.

* * *

Нотариус сделал вид что очень рад его приезду, может быть и действительно был рад, так как это обещало ему скорое получение большого гонорара. Он несколько раз встречался с Муровым, составлял его духовное завещание, и у него были ключи от сейфов в цюрихском банке, эти

ключи он сразу передал Опарову, пояснивши что содержание сейфов ему неизвестно, но на основании разговоров с Муровым предполагает что там хранятся большие ценности. Муров распорядился чтобы и все бумаги, какие могут оказаться после его смерти, были тоже переданы Опарову, это была довольно большая пачка. В ней оказался между прочим листок, на котором рукою Мурова были написаны только цифры, без всяких пояснений: наверху в уголке была цифра 13,5, а ниже был столбик из двадцати семи шестизначных чисел. Понял ли эту запись нотариус осталось невыясненным, вероятно понял, потому и говорил что там в швейцарском банке большие ценности. Для Опарова же эта криптограмма была вполне понятна, эти цифры означали двадцать семь золотых слитков — «баров», весом каждый в тринадцать с половиной килограммов.

И раньше он уже ясно сознавал какое большое влияние оказал Муров на его деловую жизнь, а в последнее время еще больше повлиял на его мировоззрение своим письмом. Но теперь стало еще яснее как много было у него от Мурова: то что он считал своими идеями в делах оказывалось только внушенным Муровым. Хотя бы вот эта теория золота как единой непреложной ценности, не подверженной капризам законодателей или министров и президентов. Закончивши свои дела он почти все поместил в золото, то же самое сделал и Муров раньше его.

* * *

На подъеме, по дороге к Пали, был каменный дом Мурова, одноэтажный, с пальмами и цветниками, с открытым видом на океан. В этом доме он жил последнее время и тут умер; дом тоже был завещан Опарову вместе с обстановкой и автомобилем. В доме было двое постоянных людей — шофер китаец, он же и повар, и горничная японка, этим людям покойный завещал по семь тысяч долларов из денег, имеющихся в местном банке.

Запечатанные комнаты в доме были открыты, по распоряжению судьи печати сняли, завещание не внушало ни-

каких сомнений. Опаров вместе с нотариусом поехал осматривать завещанный дом, каждая вещь тут была ему интересна и дорога — не по ценности, а потому, что ее когда-то выбрал и поместил у себя Муров. Бывают квартиры безличные, и бывают квартиры, отражающие того человека, который тут живет, они дополнение к его биографии. Замок, в котором жили предки и сотни лет собирали обстановку и другие вещи, это нисколько не определяет личность теперешнего обитателя, это не его черты, не он это окружение создавал. Еще безличнее какая-нибудь богатая обстановка нувориша, гонявшегося за старинной мебелью или модными дорогими вещами: книги в книжных шкафах в кожаных переплетах с золотым тиснением, а их никто никогда не читал.

В доме Мурова не было картин с золочеными рамами и старинной изысканной мебели, но было много книг, и их Опаров рассматривал внимательно, стараясь понять чем интересовался его покойный друг. Как будто не было ненужных вещей, но было несколько статуэток и две вазы из китайского зеленого и желтоватого нефрита, совсем ненужных в домашнем обиходе. Вспомнился александрит Мурова, тоже завещанный ему, и свой еще в Петербурге, александрит из сейфа Венглера, который по ночам рассматривала Валерия. У каждого человека есть влечение к мистике, многие это решительно отрицают, но оно все равно есть у них.

У Опарова не было предрассудков или суеверий, но слово мистика он понимал по-своему, от мистики нельзя уйти, потому что она во всем кругом нас, самая большая мистичность это наша жизнь, неизбежность смерти.

Александрит мистический камень в западном понимании, а нефрит очень много говорит восточному мышлению, особенно китайцу. Людей влечет к цветным камням, самым стойким и самым твердым, на создание которых потребовались миллионы лет.

Китаец и японка еще оставались при доме. На своем особенном английском языке они старались высказать похвалы и почтение своему бывшему господину, у японки

на глазах были даже слезы — вероятно тут была и благодарность за оставленное наследство. Когда Опаров брал в руки вещицы из нефрита, стоявший рядом китаец с видимым удовольствием и почтением смотрел на них, и может быть он действительно чувствовал уважение к Мурову за то что тот тоже понимал и любил нефрит.

Было удивительно что Муров как будто нарочно взял китайца и японку, людей наций враждебных, точно хотел их примирять, точно хотел убедиться что вопрос национальности ничтожен, когда люди поставлены в приятные для них условия.

О последних днях жизни Мурова, как он умер, и китаец и японка могли рассказать очень мало: был болен уже несколько дней, ходил, но иногда днем ложился в постель, так же все ел в положенные часы, но очень мало, пил джинджер-эль и иногда стакан виски-сода, все было как будто обычным, но утром когда японка тихонько постучала в дверь спальни и никакого ответа не было, приотворила дверь в спальню, увидела что Муров лежит на ковре у кровати, одной рукой ухватился за подушку, глаза были закрыты. Она закричала, прибежал китаец, позвонил по телефону врачу, он сейчас же приехал и сказал что с Муровым удар. Два дня он еще жил без сознания. Больше говорил китаец, и как-то так просто говорил о смерти человека, точно в этом нет ничего трагичного: каждый должен умереть, а к тому же Муров был уже старый человек.

Опаров знал что восточные люди, особенно китайцы, гораздо спокойнее чем европейцы относятся к смерти человека, и потому как будто холодный тон китайца его не удивил.

Он вызвал врача и попросил его подробно рассказать о болезни и причине смерти, вежливо предупредив что его время будет полностью оплачено. Но ничего нового не узнал, ему показалось что врач не знает причины смерти, хотя говорит с большой уверенностью и даже апломбом, он говорил об остановке сердца, о кровоизлиянии в мозг; выяснилось что ничем он больному не помог, кроме компрессов на голову и «полного покоя». Разговор с врачом

так не понравился Опарову что он под конец довольно иронично спросил:

«Так что же, кровоизлияние произошло оттого, что остановилось сердце, или сердце перестало работать оттого, что не получало больше импульсов от мозга?»

Врач понял иронию Опарова, получил свой гонорар, и они расстались холодно.

* * *

На письменном столе в кабинете была горка книг, отдельно лежала маленькая английская книжка в кожаном переплете: «Размышления Марка Аврелия», перевод с греческого. Эту книжку Опаров положил в карман, хотел посмотреть почему ею интересовался Муров. Он знал эту книжку, читал ее еще в студенческие годы и помнил эти размышления могущественного римского императора, императора-философа, единственного в своем роде. Тогда он не одобрил эти размышления: Аврелий все время говорит о спокойствии, примирении, «экванимити», писал о возвышенном мышлении, духовном совершенстве, и ему было нетрудно так мыслить, он был властителем империи, владевший почти всей Европой и частью Азии, он был римский император, у него не было забот о завтрашнем дне, о том как он проведет свою старость когда уйдет работоспособность, когда придут неизбежные болезни; ему не приходилось думать о деньгах, все богатства Римской империи были к его услугам, были тысячи рабов, готовых служить ему. А у меня ничего обеспеченного и определенного впереди, рабов уже не будет, но деньги это те же рабы, которые могут служить человеку, пока существуют деньги, а они всегда будут существовать, — думал он. У Марка Аврелия могла быть мысль только о славе, о сохранении границ своей империи, все окружающее ему поклонялось, и вот он проповедует спокойствие и примирение. А мне, мальчику из мещанской среды, хотелось тогда создать для себя хоть какое-нибудь состояние и социальное положение выше серой массы, ничего этого не дано было мне по рож-

дению. По воле рока одни люди рождаются с какими-то привилегиями богатства или знатности, а другие серая масса, и у них не бывает того окружения, в каком вырос Марк Аврелий, воспитанный греческими мыслителями в понятиях красоты, поэзии, отвлеченного мышления. У меня же не было никакого воспитания, никого кто мог бы направлять меня, самому нужно было отвечать за себя, начинать с начала. Не знал ни одного иностранного слова, да и по-русски говорил вставляя сибирские словечки и неправильные ударения, уже в университете надо мной подсмеивались за неправильные обороты русского языка, иногда наедине слезы навертывались из-за этой обделенности по рождению...

Вечером, уже лежа в постели, перелистывал эту книжку и заметил что некоторые места отмечены карандашом, не сомневался что эти отметки были сделаны Муровым. Строки, отмеченные двумя линиями, остановили его внимание, в этих строках говорилось, что когда человеку жизнь кажется бесцельной — он ничего уже не может сделать ценного ни для себя ни для других, тогда самоубийство не только оправдано, но должно даже вызывать уважение окружающих.

Долго думал над этими отмеченными строками, неужели у Мурова была мысль о самоубийстве, это так на него не похоже! Неужели его смерть была самовольной, а не естественной, как бывает у всякого престарелого человека. У Мурова, ездившего по всяким закоулкам мира, мог оказаться какой-нибудь яд, хотя бы тот, каким владеют индейцы в верховьях Амазонки, и он был там недалеко когда жил в Перу.

Всю ночь не мог заснуть, хотелось верить что смерть Мурова была вполне естественной и нормальной.

* * *

Для имущества, находящегося в Швейцарии, не потребовалось никакого утверждения в правах наследства. Оказалось что уже месяца за три до смерти Муров пере-

вел швейцарские сейфы на имя Платона Опарова и он являлся теперь их владельцем, даже ключи и шифр были у него. Счет Мурова в местном банке нельзя было тронуть до утверждения завещания. Его удивило почему китайцу и японке завещано по семи тысяч долларов — не пять, не десять, а именно семь. Тогда он подумал что такая сумма оставалась в наличных деньгах в местном банке, но теперь выяснилось что там было много больше.

Нотариус полагал что за две-три недели все формальности по утверждению завещания будут закончены и советовал лучше остаться здесь на это время, и Опаров согласился. Дом решил не продавать, может быть когда-нибудь привезет сюда Аду, и в этом удивительном климате, среди совсем новой природы, она чем-то заинтересуется. А из нефритовых статуэток выбрал только одну — Хотея — китайского мудреца, проповедовавшего радости жизни; ее решил взять с собой.

Прошло недели четыре, все формальности были закончены. На большом японском пароходе поехал в Сан-Франциско и там на пристани получил телеграмму, переданную из Гонолулу. За подписью Писанки и пастора сообщалось что Ада тяжело больна, в клинике, мало надежды.

Из Сан-Франциско уже полетел на аэроплане в Нью-Йорк и тоже на аэроплане через Атлантический океан в Париж. В телеграмме не упоминалось, но почти наверно это самоубийство, она не раз говорила о самоубийстве, ее меланхолия не проходила. А может быть пастор своими разговорами убедил ее что потусторонняя жизнь есть, и она захотела перейти туда, там будет снова зрячей?

* * *

Войдя в подъезд узнал что Ада уже умерла и только ждут его приезда для похорон. Все в доме были встревожены и опечалены, но казалось что больше всех Мисси и пастор, у них был вопрос что с ними будет дальше, нужны

ли они теперь, когда умерла слепая Ада. Он сразу сказал чтобы они не беспокоились, их дальнейшая жизнь будет устроена, они делали что могли, а против велений рока люди бессильны. Они нужны будут и дальше, у него есть определенный план.

И Мисси, и пастор и остальные в доме хорошо знали как все случилось. Утром Аду нашли в постели в ее комнате без сознания, никто ночью не слышал никакого крика; был вызван немедленно доктор и еще другой доктор, сразу стало ясно что она отравилась. На туалетном столике стояла бутылка виски почти пустая и тут же картонка с остатками сероватого порошка — это было очень ядовитое мышьяковистое соединение, которое свободно продается как средство для борьбы с насекомыми, уничтожающими огородные растения, особенно картофель. Мышьяк нельзя купить в аптеке без рецепта врача, но этот инсектицид продается совершенно свободно в любом количестве, на картонке был немецкий адрес химической фирмы. Все стало ясно: когда-то этим порошком Ада пробовала отравлять Валерию и по непонятной неосторожности или даже наивности она сохранила эту коробку с оставшимся порошком в ящике своего шкафа, вместе с башмаками и чулками, а когда Писанка отправлял из Берлина все ее вещи, заботливо упаковывал и ничего не хотел забыть по небрежности, он упаковал и эту коробку — и вот теперь тем же самым ядом покончила с собой Ада. Видимо она всыпáла этот порошок частями в стакан с виски, или может быть раньше пила одно виски, опьянела и потом все всыпала сразу, в стакане на ночном столике осталось немного виски и осадок нерастворившегося порошка.

Вспоминая о последних днях Ады пастор рассказал что она стала еще меланхоличнее, много пила, но и алкоголь не улучшал ее настроения:

«Я вполне понимал с самого начала что мой долг заботиться о ее настроении, как можно улучшать его, исполнять ее желания, и я старался это делать, но могу сказать безуспешно, она всегда говорила со мной с какой-то иронией. Я нисколько не обижался, я никогда ни на кого не

обижаюсь и не могло быть мысли у меня обижаться на Аду Львовну, но я сожалел что ничем не могу помочь ей. Как вы мне в самом начале сказали, я не говорил с нею о религиозных вопросах и она мне их не задавала. В последний день перед той ночью, когда она отравилась, совсем неожиданно для меня сказала чтобы я прочел ей что-нибудь из Льва Толстого, добавила чтобы это было что-нибудь покороче и понаивнее, меня удивило последнее слово. Я взял из шкафа народные рассказы Толстого и стал читать ей рассказ о сапожнике и его подмастерье, дошел до того места где ангел смерти стоит за приехавшим барином и это означало что он скоро умрет. Тут она прервала меня на полуфразе и не то наивно не то иронично спросила:

«А может ли слепой увидеть ангела смерти?»

Я затруднился сразу ей ответить, но все-таки сказал что если это ангел, так его может увидеть и слепой. Она встала и ушла в свою комнату, заперлась, и так из нее и не выходила. Я спросил Мисси что она делает у себя, Мисси сказала что она долго ходила по комнате, приказала принести ей еще бутылку виски, а теперь кажется легла спать. Я был очень встревожен, но не смел войти к ней в комнату, не знал что мне делать».

Рассказ пастора заставил Опарова задуматься: не может же быть что она отравилась с мыслью быть зрячей на том свете, хотя она когда-то об этом говорила.

Пошел в комнату Ады, долго там просидел, никто не входил, поняли что нужно оставить его наедине с самим собой. Сплетались в памяти Валерия и Ада, и было ясно что Валерия была ему ближе и дороже Ады.

Со слепыми много забот и трудностей, но без слепой Ады дом опустел: должно пройти сколько-то времени пока привыкнешь к ее отсутствию.

Началось с преступления и самоубийства Льва Рискалина, и дальше еще два самоубийства: неужели есть закон возмездия и действительно преступлением нельзя создать чье-то благополучие, тем более счастье? Началось все от его доброго чувства, желания помочь какой-то дотоле неведомой девочке, а дальше все складывалось само

собой. Да, его близость с Адой, о чем узнала Валерия, но ведь уже раньше она прониклась неприязнью к сестре и неприязнь эта все нарастала. От доктора она знала что ее кто-то отравлял мышьяком, и не сомневалась что это делала сестра. Много позже выяснилось — Прасковья не сказала во-время: она однажды утром видела что Ада встала раньше нее, ходила в столовой около стола и трогала чашки, это ее тогда удивило и она об этом рассказала Валерии.

Валерия знала от Прасковьи об этой ночи с Адой — эта его вина остается — но любой мужчина не устоял бы перед соблазном близости с такой молодой красивой женщиной как Ада, которая сама пришла к нему ночью, сама легла к нему в постель и стала его ласкать как будто с самым искренним чувством и горячим желаньем.

Это жило в подсознании, может быть от предков староверов, может быть от древних времен гаремного или феодального строя, но и совсем сознательно, как будто критикуя и анализируя свои поступки, он считал что временная случайная близость с другой женщиной совсем не измена, совсем не то что измена женщины: сама природа сделала так, что последствия от женской измены гораздо важнее, иногда трагичны. Валерия по-прежнему оставалась его женой, и он не чувствовал за собой непрощаемой вины, из-за которой можно убивать другого и себя — тут было наслоение многих причин.

«Прошлого не изменишь, не надо думать о прошлом, оно не в нашей власти, но человек может по собственной воле устраивать будущее. Да, по собственной воле, но вмешивается еще всемогущий рок и нашу волю меняет... а может быть и наша воля идет по воле рока, уже предначертана им?»

• • •

Он не хотел стать аскетом и отказаться от возможных маленьких радостей, аскетизм всегда считал недомыслием, но теперь было неясно какие радости могут его радовать.

Не развлечения же толпы и даже не новые любовные интриги, устал от них. Нужно сделать все чего хотел бы Муров, нужно истратить его большие деньги так, чтобы он одобрил: он не одобрит и не возразит, с того света одобрений и распоряжений не бывает, но нужно сделать все что он одобрил бы.

Пусть человек не знает кого любить, нет около него сейчас такого человека, которого он любит, одного человека или нескольких — но постоянная мысль что надо кого-то любить, уже одна эта мысль крайне важна, и живя с нею найдешь кого и как любить. Как написал Муров, это нужно не по велениям каких-нибудь религиозных откровений, философских выводов, или согласно социальному договору, который обязателен только тем кто хочет его принять — это нужно прежде всего для самого себя, для того чтобы собственная жизнь была оправдана. А если многие проникнутся этой мыслью, то и жизнь других станет лучше — в этом уже не сомневался. Он будет издавать журнал, рассылать его бесплатно всем желающим, и в этом журнале в разной форме и на разных языках будет проводиться эта мысль, никакой политики или критики религиозных убеждений, никаких национальных вопросов, только постоянное напоминание что нужно кого-то или что-то любить. Одним этот журнал может быть покажется наивным, а другие станут его читать внимательно и проникнутся тем что будет в нем. Такое бесплатное издание на трех языках с большим тиражем потребует много денег, но деньги есть — и деньги Мурова и его деньги — много денег и оставлять их некому и незачем.

Пастор знает несколько языков, хорошо образованный человек, он может вести журнал — понятно все статьи будет читать сам.

Мисси быстро и грамотно пишет на машинке, знает стенографию, привыкла к систематической конторской работе — вот уже и есть основа редакции. Будут приглашены на очень хороший гонорар сотрудники, каким будут подходить идеи журнала, явятся совсем неожиданные, никогда

раньше не писавшие на такую тему, и у них окажутся яркие и убедительные строки, это сделает высокий гонорар.

В ряде газет в разных странах будут объявления о выходе этого журнала, о том что он рассылается бесплатно, несомненно сразу окажется большой тираж, люди падки на бесплатное — и это очень хорошо в данном случае.

Был готов уже и второй план. Опаров обратился к той же конторе, через которую купил виллу, он прикупит к своему саду еще большой соседний участок и все будет обращено в сад для слепых, где будут только ароматные цветы, где все дорожки будут сделаны так чтобы слепой мог безбоязненно ходить. Так как тут склон к Сене, то понадобятся все-таки и ступеньки, но их надо устроить с плавным и приятным уклоном: вспомнил ступеньки в старых средневековых замках, лестницы, по которым рыцари въезжали верхом, вспомнил подъем тоже по лестнице на крышу собора Петра в Риме — вот такие лестницы будут в саду слепых. Фонтанов в саду не надо, их не видит слепой, а будут журчащие каскадики и ручейки — их он тоже не увидит, но будет слышать их мелодичное журчание как его когда-то слышал он сам в Никко, в этом удивительном лесу вековых криптомерий, с красными лакированными храмами. И раньше понимал это, но после жизни со слепой Адой стало еще яснее как важны для слепого звуки: и весь окружающий мир и отдельных людей он узнает по звукам. И вот бы хорошо в саду слепых повесить в разных местах клепаные колокола, как в шинтоистских храмах в Никко, и входящий в храм легонько дергает за веревку и звуком колокола напоминает Богу о своем присутствии и желании общения с ним; такой необычный звук может что-то говорить слепому, возбудить его воображение и отвлекать от постоянных мыслей о своей обделенности.

На содержание этого сада будут положены достаточные средства, и самая вилла будет завещана этому саду. Этот сад с виллой он назовет «Валада» от имен Валерии и Ады.

Чем больше думал тем сильнее укреплялся в этих двух планах, оставался только вопрос — а как он должен еще

заполнить свою жизнь, что делать дальше уже для себя, хотя являлась мысль что если увлечься по-настоящему задуманным, полюбить что делаешь, то пустоты не будет.

* * *

Ада была похоронена в том же склепе, рядом с Валерией, гроб был точно такой же, только без стеклышка над лицом. Заупокойные молитвы читал отец Мисси, никаких объявлений о похоронах не было, как и о смерти Валерии, но репортеры нескольких газет все-таки узнали о самоубийстве Ады, вспомнили прежнюю драму, когда ее большие фотографии были напечатаны на первой странице, но на этот раз никаких новых фотографий не было. В русской колонии много говорили теперь об Опарове, о его богатой вилле где происходят такие таинственные драмы, но как забываются всякие сенсационные новости и слухи, так скоро забыли и об Опарове. Однако у него самого осталось уже какое-то не то неприязненное, не то мистическое чувство к его вилле, и он уже думал о доме в Гонолулу.

Прошло три года; намеченные планы были выполнены почти совсем так, как предполагалось. Вилла «Валада» с садом для слепых стала уже известным учреждением в Париже, и не только в Париже, об этом саде много писали в газетах в разных странах. Деньги не экономились. Уже около тысячи слепых стали членами этой организации и число их все росло. Оказалось что для слепого мало еще хотеть побывать в таком саду, надо в него прийти — что так просто и легко зрячему и так трудно слепому — и теперь по праздникам слепых привозили в больших автокарах на несколько часов и потом развозили по домам. Он был уверен что этот сад останется навсегда, не порастет бурьяном.

Тираж журнала разрастался, журнал по-прежнему был бесплатный, стал интересным для многих, о нем говорили, о нем писали.

И в газетных объявлениях, на которые было много истрачено, и в первом номере журнала было объявлено что принятые рукописи оплачиваются высоким гонораром. Как будто даже неуместные для такого журнала были напечатаны рассуждения о том, что труд писателей оплачивается несправедливо, а это труд самый важный и ценный. На записанном построена вся культура человечества, лучшая и главная ее часть, не достижения индустрии и механики, а достижения человеческой возвышенной мысли.

Получалось много статей, но подходящих было мало, с сожалением бросали большинство их в корзину, но зато Опаров переживал приятные минуты когда находилось что-то ценное. У него создалось отчетливое и твердое понимание что подходит для журнала, никогда не бывши редактором он стал настоящим редактором, так как точно знал что нужно сказать в этом журнале: он должен быть

годен для каждого, для любой национальности и для любого государственного строя, и даже для всякого времени; идеи, проводимые в нем, поднимут мораль и духовность людей, а обо всем остальном текущем ничего печататься не будет.

Особенно одна статья сразу обратила внимание и его и пастора, и автор этой статьи, подписавшийся псевдонимом, был приглашен сотрудником на очень высокий гонорар. Вот эта статья, она называлась «Осколок разбитой бутылки».

Перед казнью, назначенной на завтра, ему в камеру дали бумагу и карандаш, с разрешением написать письма или что он хочет, даже сняли наручники.

Сначала он отодвинул бумагу и решил что ничего писать не будет, некому и незачем, но ночью решил что-нибудь написать — неизвестно кому, всем.

«Письма писать мне некому, никого нет кому письмо мое могло бы быть ценно... и прощаться не с кем. Хотел написать проклятие своим палачам, но и это не нужно. Я уже седой, много лет думал как улучшить жизнь людей и вот за это через несколько часов буду расстрелян. Впрочем я все равно ничего сделать не мог. За тысячелетия так называемой человеческой культуры, несмотря на поразительные достижения в механизации, несмотря на гениальные научные гипотезы, на все философские системы, моральные постулаты, религиозные учения, люди не стали лучше, а жизнь их стала труднее. Что я могу сказать им за несколько часов до смерти, когда уже ничем не связан и когда бояться мне нечего, впереди ничего, только смерть и за нею ничто, или что-то непостижимое, страшное, холодное, или наоборот светлое и радостное...»

Перед рассветом, когда по едва доносившемуся бою часов соседней церкви, уловленному обостренным слухом, он узнал что осталось жить час-полтора, не больше — еще приписал:

«В людях много злобности и нетерпимости, но в каждом человеке есть что-то хорошее, доброе, есть непремен-

но в каждом, даже в самом отчаянном разбойнике. Борьба со злом силой не дает результатов, она порождает только новое зло, надо дорожить хотя бы самым маленьким добрым какое есть в каждом, искать его. Нарушение так называемого нравственного закона, какие-то условные моральные обязательства — все это неубедительно, призрачно... Устрашение и запрещение только усиливают желание совершать запрещенное, в запретном особая притягательность. В каждом из нас есть что-то доброе, хотя бы ничтожное по первому взгляду, и вот об этом добром, о каких-то хороших поступках нужно постоянно вспоминать: никаких угрызений совести, никаких раскаяний, просто забывать обо всем плохом что было и выискивать в памяти хотя бы самые мелкие хорошие поступки и добрые чувства, то что каждый для себя считает добрым и хорошим. Чем чаще, чем больше вспоминать об этом маленьком хорошем, тем лучше будет становиться жизнь людей, каким-то чудесным образом каждому под влиянием этих воспоминаний захочется сделать еще что-то хорошее, хотя бы самое пустячное... Уже светает, пробило четыре, сейчас отомкнут камеру и придут за мной».

Начальник тюрьмы с двумя надзирателями вывели его из камеры и передали двум конвойным чтобы отвести на место казни.

Версты две или больше прошли по шоссе. Всходило солнце. Было уже совсем близко к месту расстрела, отчетливо была видна кучка солдат, поблескивали стволы винтовок, у столба у опушки леса стояло трое людей и еще четвертый поодаль.

На шоссе блеснул осколок разбитой бутылки, арестант вдруг остановился на секунду, нагнулся и швырнул осколок в канаву.

«Ты что!» грубо крикнул на него конвойный и замахнулся прикладом ружья.

«Осколок бутылки, кто-нибудь проколет шину», спокойно, как будто наивно ответил арестант. Конвойный опустил приклад, ничего больше не сказал. Пошли дальше.

* * *

Оказалось что автор этой статьи уже довольно известный писатель, и было интересно все что он писал дальше, в скрытой и тонкой форме проводилась основная идея журнала, и на вдумчивого читателя такие статьи влияли гораздо больше чем самые блестящие ораторские проповеди. Кончилось тем что этот писатель приехал в Париж и стал членом редакции.

Начать новый журнал в современных условиях дело очень трудное. Журнал не может существовать без объявлений, а этот журнал пока никаких объявлений не печатал. Такое предприятие могло казаться глупым и абсурдным, ничего не сулящим кроме убытка. Опаров это понимал и потому особенно увлекся этим журналом, точно нашел что-то нужное и ценное, что можно полюбить. Дальнейшее показало что и в современном строе, где всем управляет экономика и материальные расчеты, возможен и такой журнал. Понятно что для того чтобы он был возможным, полжизни Мурова, полжизни Опарова и даже полжизни некоего Венглера были истрачены на накопление денег.

* * *

Опаров ездил в Швейцарию чтобы осмотреть что действительно находится в оставленных ему сейфах, и в них оказалось много больше ценностей чем можно было предполагать по криптограмме, кроме золота было еще и много другого.

Никаких затруднений в банке не встретилось — все теперь было в его распоряжении, завещанная сумма больше чем удваивалась. И Опаров, и еще раньше его Муров, не случайно выбрали швейцарские банки, они были совсем особенные. Безбедная жизнь швейцарцев построена не только на туристах, а главное на доходах швейцарских банков: только здесь возможны анонимные счета вкладчиков, полный секрет банковских операций и отсутствие наследственных пошлин для иностранцев. Сюда помещали

капиталы короли, президенты, министры, когда им грозила какая-нибудь опасность, и эта маленькая нейтральная страна всегда оказывалась в безопасности от соседних войн и революций, так как тут хранились капиталы и той и другой из враждующих сторон.

Вернувшись после этой поездки он еще шире стал тратить деньги на журнал. Его захватила эта работа, он и сам стал кое-что писать, много читал и иногда находил в книгах ценные кусочки, которые можно было перепечатывать в журнале. Тираж все расширялся, было много всякой корреспонденции и это заполняло вместе с садом для слепых все время.

Еще раз ездил на Гаваи, прожил там с месяц в завещанном ему доме. В нем по-прежнему жили китаец и японка, хотя им нечего было делать в его отсутствие, только поддерживали грядки в саду, кормили попугая и в чистоте содержали дом. Выяснилось что японка приехала на Гаваи совсем ребенком и ее родители до сих пор работают на сахарных плантациях на острове Гаваи, самом большом из группы Гавайских островов, там она провела детство. Она рассказывала об этом удивительном острове, по ее словам самом удивительном на земле, потому что на нем вулканы, огненное озеро, окаменелый лес и другие чудеса. Она сказала что Муров ездил на этот остров и потом говорил что это величайшее чудо природы.

Опаров тоже решил поехать туда. От городка Хило к огненному озеру Халемаумау идет автомобильная дорога, которую не строили люди, а сама природа — это застывший поток лавы, вытекший из кратера соседнего вулкана. Среди дороги расщелины и из них поднимаются столбы пара и удушливого дыма, надо объезжать. А по сторонам густой лес, переплетенный яркими оранжевыми настурциями и торчат вопросительные знаки — еще не развернувшиеся побеги папоротников.

Казалось что это давно ушедший в прошлое мир, казалось что вот-вот перед автомобилем дорогу перелетит птеродактиль, или из зарослей выглянет морда бронтозавра, а налево на горизонте две вершины величайших в мире

вулканов. Они потухли, но не сегодня-завтра могут опять ожить и тогда этот остров может опуститься на дно океана, как случилось не так давно у берегов Борнео с островом Кракатау. Почему-то на соседнем острове Оаху, где Гонолулу, землетрясений не бывает, а тут они постоянно. Что-то кипит под дорогой, а в конце ее, наверху, вечно-кипящее озеро лавы Халемаумау и около него маленький деревянный отельчик, на котором написано что он «землетрясенеупорен». Не опасен для посетителей, только разве картонный потолок упадет на голову, но все-таки рекомендуется при начале землетрясения становиться в косяк двери или выходить наружу. Опаров никогда не бывал в землетрясениях и ему даже хотелось чтобы оно началось — всех тянет к новому.

У гостинички был специальный проводник, предлагал свои услуги, но Опаров ходил один, его не столько интересовали отдельные чудеса этого острова, сколько особое настроение среди этого жуткого величия природы. От гостинички узкая дорожка к тоннелю папоротникового леса в потухшем кратере вулкана, в «Дом вечного дождя». Этот тоннель тоже построила сама природа, тоннель был прорыт лавой при извержении, с тех пор прошло много лет, и там где из недр земли выбрасывались на тысячи метров огненные массы, теперь вырос папоротниковый лес и тут было холоднее чем наверху. Столетние папоротниковые деревья окутаны толстым слоем омертвевших и засохших листьев, стволы казались мягкими, и сверху все время падали капли воды как будто шел вечный дождь. Совсем промокши он вышел из этого удивительного леса, на узенькой дорожке присел на какой-то камень, рядом из расщелины выходил пар, и к удивлению заметил что в этом пару растут какие-то довольно крупные грибы, взял один в руку и почти обжегся. Тут все было необычно, как будто сама земля была живая, внутри что-то кипит или плавится, весь остров живой, и так ничтожен человек перед этим могуществом природы.

Где грань между живой и мертвой природой, что живое и что мертвое? В университете профессор проводя

грань между живым и мертвым, говорил что живое питается и размножается; но ведь и кристаллы питаются и размножаются: рядом с большим кристаллом горного хрусталя вырастает целая щетка мелких кристалликов. И он думал что грань может быть там, где начинается мышление, но как-то мыслят и животные, может быть грань там где впервые появляется мысль о смысле жизни, о ее цели, где впервые появляется чувство любви. У животных настоящей любви нет, куры заклевывают свою больную сестру и даже расклевывают ее трупик, волки в голодную зиму приканчивают своего неудачливого собрата, змея поедает своих детенышей, только что вылупившихся из яиц. У животных есть временный материнский инстинкт, но любви у них нет, настоящее чувство любви только у человека, и не тут ли грань, отделяющая человека от всего остального в природе?

В этом величественном и в то же время жутком окружении, мысли шли по новым непривычным путям и все время вспоминалась фраза из письма Мурова, что самое главное нужно найти любовь в себе самом...

Вернувшись в Гонолулу благодарил японку что она посоветовала поехать на остров Гаваи, но поехал он потому, что туда ездил Муров: все удивительней казался ему этот его друг, как будто без всякого плана ездивший по земному шару, то в Перу, то на Гаваи, а сколько еще других стран, из которых он не писал. Чем руководился Муров в своих необычных поездках? Может быть нарочно искал тайн природы, в сравнении с которыми вся современная техника только детская забава; может быть он хотел, несмотря на свои деловые успехи, понять и внушить себе насколько ничтожен человек в сравнении с силами и тайнами природы.

Как будто Муров знал точно когда умрет, так незадолго до смерти обо всем распорядился. Одно было непонятно Опарову: почему именно ему он оставил свое большое состояние; значит его считал самым близким человеком, который поймет мысли, к каким он пришел под конец жизни.

* * *

В августе 1939 года стало ясно что новая европейская война, а может быть и мировая, неизбежна. И война началась как продолжение того длительного безумия, какое охватило людей в августе 1914 года.

С конца девятнадцатого столетия и до 1914 года люди постепенно привыкали к мысли что они стали умнее и безумных войн уже не будет. Национализм был всегда, но до четырнадцатого года можно было свободно ездить по всему миру без всяких паспортов и виз, и только Россия считалась отсталой страной, потому что здесь были необходимы паспорта. Все деньги расценивались по золоту и их принимали в любом государстве, имущество людей считалось в фунтах, долларах, рублях, франках, марках и каждому было понятно насколько велико это имущество; теперь же никуда нельзя было ехать без разрешения и сколько стоил франк или марка нужно было узнавать каждый день. То что строили десятками и сотнями лет теперь стали разрушать всякими новыми совершенными способами, и героями становились те, кто умел разрушить больше... После ряда годов тихого помешательства, наступал опять припадок буйного сумасшествия.

Уже на третий день после объявления войны, во Франции всем русским эмигрантам было приказано явиться для регистрации в ближайшие полицейские участки и подписать какие-то листки о готовности защищать Францию. Самому Опарову не пришлось подписывать такой листок по возрасту, но Писанку сразу назначили в какую-то воинскую часть, куда он должен явиться по первому вызову.

Фрау Ромель недавно получила тревожное письмо от внука, он был включен в какой-то отряд гитлеровской молодежи и его отправляли куда-то в Баварию. Она плакала и просила отпустить ее в Берлин для свидания с внуком, ей дали жалованье вперед за три месяца и она уехала с полной уверенностью что через неделю вернется — но она не вернулась.

Пастора в первые же дни войны французские власти арестовали как подозрительного немца и отправили в какой-то лагерь.

В доме теперь оставались только Мисси и престарелая Прасковья, Писанка каждый день мог быть вызван в какой-то полк: он в прошлом был фельдфебелем в русской армии, а таких призывали в первую очередь. В нижнем павильоне жил теперь с ним только один сынишка Гриша, другой лежал в больнице с переломанной ногой и сотрясением мозга; он поехал в какую-то экскурсию для школьников и автокар свалился на крутом повороте с большой высоты, оказалось много раненных детей, в том числе и сын Писанки. Писанка очень горевал и удивлялся для чего это детей куда-то далеко возят, они или простужаются, или вот ноги ломают, еще где-то утонули, а он сам в детстве до двенадцати лет никуда не выезжал из городка где родился и у него ноги целы и мозги в порядке.

* * *

К началу войны муровский журнал получил уже широкое распространение, было больше семидесяти тысяч адресов, по которым он бесплатно рассылался, и каждый день почта приносила новых бесплатных подписчиков, это радовало Опарова, наполняло день.

Теперь, с началом войны, все остановилось, но была полная уверенность что журнал не умрет, а с наступлением мирного времени будет еще больший тираж, а с ним и влияние на мышление людей. Во всяком случае что бы дальше ни случилось, сколько бы ни продолжалась война, этот журнал будет выходить — если не во Франции то в другой какой-нибудь стране, хотя бы в Америке.

Первые восемь месяцев войны мало изменили жизнь Парижа. Париж так же веселился и тратил деньги на развлечения и безделье и даже призванные на войну как будто не верили что это настоящая война. Какие-то незначительные бои шли только около верховьев Рейна в Саарской

области, на карте в газетах не могли даже заштриховать то место, где идет война. Рассказывали что там все минировано и люди не хотят идти на минные поля, поэтому выгоняют стада свиней, свиньи роют землю и взрывают мины, стоит сплошной визг, и убитых минами свиней жарят для продовольствия войск; немцы из своих траншей выставляют плакаты с дружественными надписями, убитых или раненых почти нет — война не настоящая и даже забавная. По Парижу ходили фантастические слухи, один нелепее другого, вроде того что с немецкого аэроплана из облаков спустился на Париж какой-то пастор в сутане, видели как на ветру она развевается, старались разгадать что это значит, какая тут секретная немецкая затея; говорили что у французов есть особые лучи, которые могут на далеком расстоянии останавливать любой мотор, как танковый так и аэропланный, говорили что линия Мажино совершенно неприступна, и хотя она не продолжена до Бельгии, но на бельгийских дорогах всюду разложены гигантские стальные спирали, никакой немецкий танк не может проехать, он запутается в этих спиралях...

Но десятого мая получилось жуткое ошарашившее сообщение: немцы вторглись в пределы Голландии, бомбардируется и горит Роттердам и немецкие танки без задержки идут на Бельгию. Одно тревожное сообщение следовало за другим, здравомыслящие люди понимали что еще несколько дней и германские войска, несмотря ни на какие спирали и лучи, перейдут границу Франции. Хотя военные сообщения скрывали правду и уверяли что все идет по заранее разработанному плану, настроение в Париже сразу изменилось, было уже не до веселья. Одни говорили что они все равно останутся в Париже, другие собирались куда-то уезжать, и в начале июня началось бегство на юг, неизвестно куда. Военные власти издавали приказы один страннее другого: уверяли что Париж не будет сдан ни в каком случае, будет защищаться каждая улица, каждый дом, каждый фонарный столб, все солдаты будут сражаться до конца, пленных французов не будет. Предлагалось всем оставаться на месте, не впадать в паническое настро-

ение и выполнять свой гражданский долг для защиты родины, никто не должен уезжать...

Несмотря на все приказы многие уже стремились уехать и наконец одиннадцатого июня был издан новый очередной приказ, в котором предлагалось всем уезжать из Парижа, на чем кто может и куда может и как можно скорее. Началось паническое бегство, уезжали и в последних переполненных поездах, и в плотно набитых семействами автомобилях с надстройками из матрасов и детских колясок на крышах. Уезжали на оставшихся лошадях, уходили пешком с тележками, нагруженными домашним скарбом, при этом более ценное бросалось, брали в спешке что попало, а по дороге половина выбрасывалась, перегруженные автомобили ломались, не хватало бензина, у обочин дорог лежали брошенные велосипеды, автомобили, тележки.

Уезжая запирали дома, бросали на произвол судьбы собак и кошек, куры без корма запертые в курятниках не кудахтали, а издавали какие-то некуриные жалобные звуки, или вырвавшись бродили по улицам. Запертые собаки неистово лаяли и выли, другие голодные бегали по улицам ища хозяев, канарейки сидели на деревьях, кое-где попугаи и другие цветные птицы. Большой красивый ара, уроженец Бразилии, прилетел в сад Опарова, уселся высоко на дереве, пронзительно кричал, но никак не хотел сойти, хотя его всячески приманивали кормом.

Солнце стало тусклым, небо покрылось тучами черной пыли, это горели склады нефти, их зажгли чтобы не достались немцам, все покрывалось липкой сажей, по Сене плыли сплошные пятна нефти, облака нефтяной гари устроили сами люди, но казалось что какой-то атмосферический туман навис над Парижем, сама природа участвует в войне, потерялось здравое мышление. Всех и самого Опарова охватило тревожное безрассудное настроение, не былой культурный мир, а нечто апокалипсическое — но он старался мыслить спокойно и разумно, не подчиняться психозу толпы, и тем не менее тоже чувствовал тревогу, не мог решить что надо делать, упрекал себя за свою ра-

стерянность, понимал что надо самому что-то решать, спрашивать некого, другие ждут от него указаний и он отвечает за близких людей.

* * *

Опаров ходил по окрестным улицам наблюдая происходящее, все было безрассудно печально и безвыходно. Еще недавно мирная жизнь стала сумасшедшей, каждый думает только о себе, и при этом делает что-то ненужное и бессмысленное. Животный страх объял людей и они перестали быть мыслящими существами, от них нужно ожидать теперь всего самого непредвиденного.

Какой-то старик вез деревянную тележку, нагруженную его скарбом, изнемогая от усилий остановился у церковной паперти, посидел, махнул рукой, бросил тележку и медлительной старческой походкой пошел дальше, неизвестно куда, и уходя палкой с размаху ударил по своей тележке и разбил какой-то кувшин, черепки посыпались на дорогу.

Опаров решил что надо уезжать, иначе опять попадешь в кровавую баню, как было тогда в русской революции. Дома не с кем было делиться своими мыслями или советоваться, на него смотрели вопросительно и ждали распоряжений.

Писанка был уже призван, Мисси надо было увезти, так как ее со дня на день могли арестовать, и было даже удивительно что до сих пор не арестовали; не мог еще решить что сделать с Прасковьей, ей арест вероятно не грозил.

Тринадцатого июня ранним утром немцы вошли в Париж, и не с востока, как предполагалось, а с северо-запада. Весь берег Ламанша был уже занят и французские войска в беспорядке отступали на юг.

В тревоге и сомнениях прошло несколько дней и все-таки он еще не уезжал, оставался у себя на вилле. Уже приходили немецкие патрули, были довольны что тут говорят по-немецки, ничего не грабили, требовали только

кофе и вина. Вина оказалось достаточно, даже коньяку, но кофе было мало, его трудно было достать последнее время в Париже. Несмотря на немецкий язык, один из немцев потребовал чтобы из откупориваемых бутылок вина выпил раньше немного и сам Опаров, боялся не отравлено ли вино, но в коньяк сразу поверили и ушли с виллы в лучшем настроении чем пришли, жалели только что нет колодца, всюду искали колодцы, водопровод уже не работал.

Все лавки были заперты, и там где не оказывалось владельца выбивали витрины или звали слесаря чтобы отомкнул замок и брали что хотели. В съестных лавках продукты уже портились, выбрасывали куски гниющего мяса, всякую зелень, ведрами выносили скисшее молоко и поили им животных какие уцелели, а остальных, особенно вывших собак, немецкие патрули пристреливали.

И все-таки Опаров еще оставался у себя на вилле с Мисси, Прасковьей и Гришей, сыном Писанки.

* * *

В этой тревожной, несуразной, ни на что не похожей жизни прошел год. Утром 22 июня сообщено было по радио что немцы перешли русскую границу и немецкие танки быстро идут внутрь страны.

Если раньше французы арестовывали немцев, то теперь немцы будут арестовывать русских эмигрантов, это было ясно, надо во что бы то ни стало сейчас же уезжать из Парижа, из Франции.

Позвал Прасковью, наедине дал ей мешочек с золотыми монетами и подробно рассказал, что хотя в банке оставлены деньги и дан приказ ежемесячно выдавать достаточную сумму, но все-таки теперь нет никакой уверенности, немцы могут забрать и все банки, так вот на этот случай будут эти золотые монеты.

«Закопайте этот мешочек ночью где-нибудь в саду и чтобы никто не знал о нем, ни один человек, иначе и мешочек пропадет и вам не сдобровать».

К его удивлению Прасковья довольно спокойно и как будто с полным пониманием слушала его слова и сказала:

«Все понимаю, Платон Григорьевич, мы же с Катенькой переживали большевиков в России, как тогда все прятали, какие места выдумывали и так прятали что кое-чего они и не нашли! Гриша ведь тоже останется, он по-немецки говорит, немцы меня не тронут, зачем я им старуха, хуже большевиков ничего быть не может, а вот все-таки уцелели и даже кое-что с собой унесли когда бежали с родины».

«Очень хорошо, Прасковья, что вы все понимаете, Гриша тоже останется, но сохрани вас Бог ему рассказать об этом золоте. Пока у вас будут деньги вы этого золота не трогайте, но если денег не станет, если банки будут закрыты, то тихонько тайком берите монеты. А как вам эти золотые монеты менять, я так придумал: пусть Гриша, когда понадобится, сведет вас к тому старому священнику что хоронил нашу Валерию, в армяно-григорианскую церковь и вы там наедине, чтобы никого не было, чтобы и Гриша не слышал, шопотом, осторожно расскажите ему что вот у вас есть три золотые монетки, одну ему отдайте, а две пусть он для вас разменяет. Ему это сделать легче чем кому-либо. Если кто-нибудь в такое время при немцах пойдет менять золото, станут допрашивать откуда он его взял, а священник может сказать, что нашел монету в церковной кружке, кто-то неведомый на церковь пожертвовал, и ему поверят, его не заподозрят, выходит совсем правдиво. Ну а если раз разменяет, то разменяет и другой и третий. Он вероятно честный человек, поймет в чем дело, да и кому же другому поверить в такое время; я его выбрал, ничего лучше придумать не мог... Рано или поздно война кончится, немцы уйдут, жизнь наладится и я вернусь в Париж, а сейчас я должен уехать, иначе несомненно буду арестован».

Кроме этого старенького попика Опаров хотел оставить еще какую-нибудь связь для Прасковьи, и перебирая в уме всех возможных людей остановился на враче-хирурге, который приезжал под видом окулиста разговаривать с

Адой. С ним установились приятельские отношения, и ему почему-то он хотел верить. Позвонил ему по телефону, рассказал что уезжает и просил разрешения на всякий случай оставить его адрес старой экономке. Врач не удивился этой просьбе, теперь бывали всякие самые неожиданные и небывалые и у других людей, но смеясь сказал что он и сам уезжает, теперь у всех мозги больные: если делать операции, то нужно всем подряд — и ему хирургу специалисту по мозгу в Париже делать нечего. Он собирался ехать в Южную Америку.

Юмор врача очень понравился Опарову, он и сам так думал — теперь большинство людей были сумасшедшие, оставшихся более или менее нормальными было очень мало, и все остальные могли именно их считать ненормальными.

* * *

Мисси нужно взять с собой, иначе ее тоже пошлют в лагерь из-за отца, а она теперь оказалась самым нужным человеком. После смерти Ады она работала удивительно много, вела всю переписку, заведовала отправкой журнала, и во всем проявляла большую сообразительность и исправность. Никогда она не работала так прилежно в Берлине, ей видимо ни за что не хотелось покидать дом Опарова и он начинал верить в ее искренность и преданность. Она необходима ему как секретарь и не так скучно уезжать одному, с Мисси связаны переживания последних лет, около нее тени Валерии и Ады — решил взять ее с собой. Но возникал очень трудный вопрос с ее паспортом, ей как немке не дадут визы в Америку, да и отсюда немцы не выпустят. Теперь все было ненормально, лживо, продажно, и к такому порядку надо было приспосабливаться. Решил что Мисси уедет по паспорту Ады, она умерла в клинике, все ее документы остались у него. Когда Ада и Мисси уезжали в Париж по вызову американского импрессарио, адвокат быстро получил для них совершенно одинаковые паспорта, фотографии Мисси и Ады были сняты в том же

фотоматоне и довольно плохо, можно было выдать одну за другую, но решил лучше переменить фотографии. Печати были поставлены совсем одинаково, и если снять одну фотографию и наклеить другую, то линии печати совпадут. Отклеил с паспорта Ады ее фотографию и наклеил карточку Мисси, сорванную с ее паспорта. Оставалось только научить Мисси подписываться точно копируя подпись Ады. Сказал ей по прозрачной бумаге обводить подпись Ады и стараться точно подражать почерку, Мисси уже через час уверенно и быстро подписывалась совсем как Ада.

Нужно было уезжать как можно скорее, упаковывали чемоданы всю ночь, хотелось взять с собой многое, но надо было брать как можно меньше, сколько чемоданов вместится в автомобиль. Все новые автомобили давно уже были реквизированы, но оставался один большой старый, привезенный из Берлина, таких ни французы ни немцы не забирали. Были запрятаны запасные шины, но самым трудным вопросом был бензин, его в продаже не было, можно было доставать только на черном рынке по очень высокой цене. Бак автомобиля наполнили доверху, два больших бидона поставили в задний ящик, но все-таки этого не хватит на всю дорогу.

Целый чемодан заняли адреса и номера журнала, это нужно было взять с собою непременно, а также любимый будильник с боем, вывезенный из России; еще были только старые русские ножницы, каким-то чудом уцелевшие, их тоже брали с собой уже как амулет.

* * *

Франция была разделена теперь на две части. Южная часть с правительством Виши считалась как будто свободной, занята немцами не была, но свобода была только призрачная, в любой день немцы могут занять все что хотят. Весь север Франции и вся прибрежная линия вдоль Атлантического океана была под немецким контролем, по ней

можно было проехать до испанской границы, но необходимо было немецкое разрешение — «аусвейс», и в нем должно быть указано на каком основании он выдан. Без него немецкий патруль непременно остановит где-то по дороге и дальше не поедешь. Оправдывалось мнение Опарова о магическом действии золота, как всегда и везде деньги исправляли и изменяли законы. Многое можно было сделать бумажными деньгами и с французскими властями и с немецкими, но особенную волшебную силу теперь имели золотые монеты: был получен пропуск немецких властей, в котором указывалось что согласно свидетельству двух врачей он отправляется с сестрой своей покойной жены для лечения от острого ревматизма в грязевых ваннах Дакса. Никакой Дакс не был нужен, и останавливаться в нем не предполагалось, но оттуда недалеко до испанской границы. Получить испанскую визу было довольно затруднительно, за деньги и это было бы возможно, но говорили что еще проще а главное скорее ехать без всякой визы, а там на границе есть всякие способы переезда, и разрешение на проезд по Испании до Португалии можно получить уже переехавши границу. Другие подтверждали что переехать испанскую границу можно и без визы, но при этом все ценное выпотрошат из автомобиля и даже из карманов — он был готов и к этому.

Весь день провели в тревоге: вот-вот позвонят у ворот, явятся немцы и арестуют. На рассвете выехали на юг. Теперь дороги были пусты, но на каждом шагу могла оказаться застава, рассматривая план сворачивали на окружные дороги где было меньше опасности столкнуться с немецким патрулем. К удивлению Опарова оказалось что Мисси умеет управлять автомобилем, когда-то в Берлине выдержала экзамен, но все-таки он сам все время сидел за рулем. К ночи доехали усталые до Бордо, и нашли ночлег в какой-то гостиничке, а наутро нужно было не откладывая ехать дальше. Бензин уже кончался, и теперь главной задачей было по какой угодно цене но наполнить автомобильный бак — опять оказали чудесное действие золотые монеты.

В былые времена он никогда не пользовался незаконными обходами, можно было наживать деньги и без таких обходов, сами законы давали на это право и возможности, но теперь рисковал и даже думал что незаконные способы вполне законны.

* * *

Через неделю разбитые, со взвинченными нервами, после ряда бессонных ночей и многих рискованных положений и непредвиденных случайностей, были наконец в Лисабоне, в лучшем отеле Авенида-Палас. Все гостиницы были переполнены, нужна была хорошая подачка главному швейцару и еще лучшая помощнику директора отеля чтобы получить две комнаты.

Теперь нужна была виза в Америку и место на пароходе, еще неизвестно каком и даже куда, во всяком случае не в Нью-Йорк, а в какой-нибудь южный порт Соединенных Штатов или даже в Мексику. Северная часть Атлантического океана была особенно опасна, могли остановить пароход и немцы и англичане, и неясно было на каком языке лучше разговаривать, какие документы предъявлять: только что Россия была на стороне врагов Англии и Франции, а сейчас она союзник Англии в войне с Германией, и есть русские белые и русские красные и никто в этом разобраться не может, самое лучшее где-то тихо сидеть и никаких документов не предъявлять; но могут потребовать.

Отсюда из Лисабона была возможность сноситься со швейцарским банком и получать оттуда любые суммы, и потому была уверенность что будут и визы, будут и места на каком-нибудь пароходе — и так оказалось, хотя прошло больше двух недель пока грузовой пароход под панамским флагом не отошел от грузовой пристани на реке Тахо—и в двух каютах разместились Опаров и сестра его покойной жены Ада Рискалина. Куда бы ни шел пароход, под каким бы флагом он ни был, по океану и тут сновали германские и английские военные суда, а в облаках летали

аэропланы, и несмотря ни на какой флаг пароход могли остановить или даже просто потопить. Переезд был очень тревожный, кроме логичных разумных опасений еще работала и фантазия, опасения рождают страх, а под влиянием страха логичное мышление уходит; что-то упавшее в коридоре казалось отдаленным пушечным выстрелом, в завывании ветра в вентиляторе каюты слышалась вражеская сирена, приказывающая пароходу остановиться, чьи-то быстрые шаги на палубе казались началом тревоги. К тому же была уже несколько дней сильная буря, пароход раскачивало и швыряло, все переборки скрипели, где-то что-то все время падало, круглые окна кают были завинчены металлическими щитами, электричество иногда тухло, по коридорам и лестницам были протянуты веревки, но и держась за них было опасно выйти из каюты, внизу было очень душно и жарко как в бане.

* * *

Прошли Багамские острова, в Караибском море буря утихла.

«Вы очень боялись в эти дни?» спросил он Мисси.

«Я совсем не боялась, когда я с вами мне ничего не страшно. Я боялась только что вы меня не возьмете с собой», ответила Мисси, при этом первую часть фразы сказала по-русски, совсем для него неожиданно. Оказалось что у нее с собой самоучитель русского языка и что еще в Париже, при Аде, она учила русский язык.

«Уже давно я решила что должна научиться говорить по-русски, и когда приехал мой отец он мне давал уроки», пояснила еще Мисси.

Он знал что она неискренняя, хитрая и расчетливая, но все-таки теперь в этих непредвиденных трудных переживаниях она оказывалась нужной, близкой, необходимой.

Пароход пристал в маленьком южном порту Соединенных Штатов и через несколько дней они были в Гонолулу в своем доме. Оказалось что в нем по-прежнему живут ки-

таец и японка, дом в полном порядке и даже жив и что-то говорит на непонятном языке попугай.

Китаец и японка с улыбками и поклонами встретили его как хозяина, точно вчера виделись, а попугай, обеспокоенный новыми посетителями, стал громко выкрикивать какое-то слово, может быть по-перувиански, хотя японка уверяла что он научился говорить по-японски.

Китаец купил подержанный автомобиль и ездил теперь как таксист. Он с японкой остались жить в доме и даже платили счет за электричество и воду. И еще удивительнее всего было что они теперь муж и жена и никуда уезжать не хотят — ни он в Китай, ни она в Японию.

Опаров был обрадован этой неожиданностью, точно приехал совсем к себе домой, в свою семью, и теперь действительно это была его семья, из прежних близких людей там в Париже оставалась только Прасковья—и вот как-то случится что и она станет снова неотъемлемой частью семьи.

* * *

Мисси — теперь Ада — хотя он по-прежнему звал ее Мисси, все детство и молодость провела в Берлине и так называемую природу видела только в окрестностях Берлина — Ванзее, Грюнау, больше нигде не бывала, а теперь впервые попала в тропики. Из окон был виден океан, в саду росли высокие стройные пальмы, и рядом в соседней комнате что-то неустанно болтал попугай. Она как-то сразу сдружилась с японкой и с попугаем, японка и ее уверяла что попугай часто говорит слово «аримасен», и это значит что у него нет воды или банана. Эта совсем новая обстановка, какой-то другой воздух, неотразимо влияли на Мисси, она теперь еще чаще улыбалась и весело смеялась и казалось что теперешние ее улыбки и смех настоящие, искренние, не такие как те улыбочки, с которыми она входила когда-то в его деловой кабинет. Он как будто переживал ее восхищения. Всегда понимал что ее давние уверения в любви к нему были только игрой и расчетом, но

если в них была крупица правды, то вот теперь она радуется что рядом нет никакой другой женщины.

Прошло уже столько лет с тех пор как Мисси поступила в его контору, тогда она была типичная берлинская барышня, совсем еще молоденькая, но уже вполне воспринявшая черты берлинской молодежи среднего класса, на лице было довольно много косметики, губы подведены модным цветом, глаза синеватым, на щеках пудра, и ногти почти такого же оттенка как губы. Тогда это ему не нравилось, но почти все были такие, Мисси оказалась хорошей работницей и осталась в конторе. Постепенно количество косметик уменьшалось, она поняла что это не нравится директору и еще больше изменила свою внешность после появления Валерии, которую она тогда назвала простенькой.

Теперь после купанья на Вайкики-бич под лучами тропического солнца Мисси совсем изменилась, загорела и вовсе не пудрилась, а ногти уже давно стали нормального цвета.

В былые годы, когда Мисси работала в конторе, он видел ее не каждый день, больше были разговоры по телефону, в кабинет она входила только в исключительных случаях; потом, когда она осталась с Адой в Берлине, совсем не видел ее несколько месяцев; и даже когда она уже поселилась в парижской вилле, все время была при Аде — разговаривал с нею только по делу, о том что нужно для Ады, а вот теперь они оказались вдвоем в гонолулском доме, с утра до вечера вместе, именно с нею было ближе всего разговаривать, даже на родном русском языке, она уже хорошо понимала по-русски. Ему нередко хотелось поговорить с ней о чем-нибудь кроме последних дней Ады, хотел говорить, но не говорил, точно боялся создать близость, перейти на интимный тон. До сих пор Мисси была только служащей, а теперь она становилась близким человеком — все время вместе. Других женщин рядом нет, он и не собирался их искать, рядом все время Мисси, и теперь она стала интереснее чем была; он понимал что стоит хотя немного перейти на более интимный тон, и это

может быть чревато последствиями. Постоянно жила в сознании фраза Мурова: «не ищи любви у других, найди любовь в себе», и Опаров уже не старался проникать в душу Мисси и анализировать действительно ли она его любит, важно было только может ли он ее любить — и ответа на это не находил. Однако окружающая обстановка оказывала свое действие, Мисси уже постепенно забывала что рядом с нею директор, хотя по-прежнему вела себя крайне сдержанно и не позволяла себе ни малейшей интимности, все еще не зная как он ответит на это — столько лет он был ее начальником, и она должна была без рассуждений исполнять его приказы, и в прошлом еще так провинилась.

* * *

Мисси принесла последний выпуск местной газеты и протянула его Опарову.

«Я уже и раньше это заметила, хотела обратить ваше внимание, они иногда печатают в газете известия за завтрашний день, выдумывают, или это опечатки?»

«Это не опечатки, отчего вы меня раньше не спросили? У нас сейчас вечер вторника, а в Париже теперь полдень среды и понятно в телеграмме могут сообщать что уже там случилось утром в среду».

Мисси не понимала, несколько смущенно смотрела на него.

«Я не понимаю как это может быть, ведь берлинское время было на час впереди парижского, значит чем дальше на восток тем раньше».

«Это очень просто, Мисси, возьмите вот на шкафу подходящий том Британской Энциклопедии и там прочтете что на Тихом океане между Японией и Гаваями, ближе к Гаваям, проведена условная кривая черта, на которой дни меняются, и если вы поедете из Японии в Гонолулу, то у вас будет два четверга или две пятницы, а если в обратном направлении, с востока на запад, то один день недели пропадет».

«Как это интересно, а я не знала!»

«Много есть интересного чего вы еще не знаете», улыбаясь добавил Опаров.

«Да, я буду больше читать таких книг... С шестнадцати лет я работала в разных конторах, целый день был занят, а вечером в Берлине было так много развлечений, некогда было читать. Теперь у меня есть свободное время и много желания, я буду много читать».

И действительно, позже он не раз замечал что Мисси роется в книжном шкафу или достает с верхней полки какой-нибудь том Британской Энциклопедии, и вообще Мисси становилась какой-то другой.

Как-то утром, как всегда выйдя на террасу чтобы пить кофе, он увидел что перед его чашкой стоит нефритовая вазочка, из тех что были в доме, и в ней две больших белых лилии.

Мисси еще не выходила из своей комнаты, слышно было как там стучала пишущая машинка. Японка подала горячие тосты.

«Это вы поставили лилии?»

«Нет, я не ставила... я не знаю кто это поставил», ответила японка.

Когда на террасу пришла Мисси он спросил и ее.

«Да, это я поставила. Вчера в цветочном магазине я увидела эти лилии, мне захотелось купить, я понюхала, они так удивительно пахнут, вроде тубероз, но мне кажется что этот запах еще тоньше, не такой одуряющий. А я вспомнила что когда еще в Париже переписывала ваш список пахучих цветов для садовника, какие нужно посадить в саду слепых, там вы не упомянули лилии...»

И он вспомнил что в своем списке пропустил белые лилии, этот царственный цветок, вошедший в герб королей, с таким сильным тонким запахом, только к сожалению цветущий очень коротко. Он посмотрел на Мисси, она улыбалась, было приятно что она так хорошо запомнила этот список, прошло ведь несколько лет. В этих лилиях

у его чашки была понятно тонкая хитрость Мисси, случай создать какую-то интимность — и на этот раз у него не было отталкивания от этой интимности, а было приятное чувство.

* * *

Была послана телеграмма по парижскому адресу на имя Прасковьи с оплаченным ответом, но никакого ответа не получилось, даже сообщения что телеграмма не доставлена.

Надо непременно узнать что с пастором, всякие справки в Париже ни к чему не привели, но он вероятно жив, где-нибудь в немецком лагере, там большинство людей уничтожают, но некоторым удается выжить. Отсюда легче узнать что-нибудь через Красный Крест или через американское посольство в Берлине, надо сделать все возможное. Жила уверенность что отец Мисси не погиб и он снова будет в редакции журнала. И о Писанке надо навести всевозможные справки.

Все время думал о журнале, он должен продолжаться и теперь во время войны, пусть будет меньше номеров, но круг читателей должен расти.

В редакции местной газеты узнал что на-днях приехал в Гонолулу известный английский писатель, не то уехавший из Англии по своему желанию, не то высланный за пацифистские статьи, узнал его адрес и решил немедленно с ним познакомиться.

Через день писатель уже завтракал на вилле и за кофе и сигарами Опаров показал ему номера журнала, просил взять с собой и внимательно прочесть, рассказал при этом что на издание журнала имеются большие деньги, что это не коммерческое а идейное предприятие, журнал непременно будет продолжаться и может платить гонорары очень высокие, но статьи должны быть в духе журнала, без текущих событий, без политики и войны, интересна только психика людей, и цель журнала облагораживать ее, подымать, и что это настоящий путь к тому чтобы не было больше войн, это и есть программа пацифизма.

Назавтра английский писатель снова был на вилле, успел прочесть уже все взятые номера и вполне согласился что такой журнал может оказать большое влияние на мыслящих людей, а они в свою очередь на маломыслящих или совсем немыслящих. Ему тоже понравился отрывок «Осколок разбитой бутылки», заключительные строки он считал превосходными и очень значительными. Он стал бывать теперь почти ежедневно, подолгу вели дружеские беседы. Мисси получила молчаливое разрешение присутствовать при их разговорах, ее знание английского языка оказалось уже вполне достаточным чтобы все понимать, и только попугай несколько нарушал мирную беседу своими перуанско-японскими выкриками, но это только улучшало общее настроение и попугая не выносили в сад.

Видимо в прошлом, может быть совсем недавнем, у писателя были какие-то неприятные и болезненные любовные переживания, пока он еще не рассказывал, дальше непременно выяснится, несмотря на природную скрытность англичан в противоположность русской откровенности и желанию раскрывать свою душу даже перед случайными людьми. Несомненно были какие-то печальные или даже драматические переживания, и может быть именно поэтому писатель долго говорил о последних словах из письма Мурова. Он соглашался что чувство любви самое высокое чувство, данное только человеку, но нередко оно приносит и печальные и даже трагичные переживания, когда опасаешься или страдаешь за любимого человека или когда любимый человек навсегда от тебя уходит; трагично если он умирает, но может быть еще хуже если этот любимый человек, в котором без малейших сомнений был уверен, связь с которым казалась навсегда закрепленной, вдруг просто уходит и становится чужим, а иногда даже врагом...

При этих словах, несмотря на английскую сдержанность, интонация говорившего изменилась, он не мог скрыть каких-то своих воспоминаний о чем-то в недалеком прошлом, еще не пережил их. Но все-таки он не возражал против последних фраз письма, хотел только расширить понятие слова любовь, он говорил что первая и самая

нужная форма любви это отсутствие нелюбви, всякой формы вражды или ненависти к кому бы то ни было. Если нет определенной любви к кому-то, то любовь должна быть хотя бы уже в том чтобы ни к кому не чувствовать враждебности, ненависти или презрения. Расширение и углубление этой мысли действительно ведет к пацифизму: «за него я выслан из моей родной страны», стараясь улыбаться закончил писатель.

Последние годы перед войной он зарабатывал довольно много, но теперь ничего нового печатать не мог, а гонорар за прошлое все уменьшался и получать его было все труднее, он видимо нуждался в деньгах. Опаров предложил ему чек на тысячу долларов в виде аванса за сотрудничество в журнале. Писатель был очень доволен, это было теперь особенно ценно для него, он обещал много писать для журнала.

* * *

Опаров уже пробовал сам писать статьи, но всегда был недоволен написанным, рвал или откладывал. Над одной он много думал и решил ее напечатать, но предварительно перевел на английский и дал писателю прочесть и не стесняясь высказать критические замечания.

Возвращая статью писатель сказал:

«Вы хотели чтобы я не стесняясь поправил вашу статью, я это охотно сделал. В журнале вы ставите условием чтобы в статье было не больше тысячи слов, а вы написали тысячу четыреста, я подсчитал. У неопытных авторов постоянное стремление писать как можно длиннее, боятся пропустить что-то очень важное что им пришло в голову, и при этом хотят делать из своего писания что-то всеобъемлющее, сразу разрешить все мировые вопросы. Хотя я кое-что вычеркнул, но все-таки у вас слишком большой холст для картины вашего мышления. Опытный талантливый писатель, описывая какую-нибудь комнату в чужой квартире, скажет что на столе стояла большая пепельница, наполненная окурками папирос и сигар, а на по-

лу валялась раскрытая книга и две газеты — а неопытный автор станет подробно описывать всю мебель в комнате и читать этого не станут, а если кто прочтет — назавтра забудет... Ваша метафора о человеческой пирамиде превосходна, но если стоящий на верхней площадке будет сразу кричать на все стороны и всюду и во всем видеть опасность и катастрофы, то он никого не испугает и его проповедь пропадет даром, надо выбрать что-нибудь одно, маленькое, в одну сторону, тогда это может кого-то убедить...»

После маленькой паузы, как будто колеблясь сказать ли и это, писатель добавил:

«Позволю себе сказать еще, что у вас какой-то учительский тон, вы точно проповедь кому-то читаете, а такой тон читателям обычно не нравится и не убеждает, а скорее вызывает протест — нас учить не нужно. Это спорный вопрос, но мне кажется что в литературном произведении не надо подчеркивать какую-то мораль, это очень годилось в былое время для басен, но люди меняются и вкусы меняются, и теперь всякая мораль в произведении раздражает, если она слишком прямо высказывается...»

Писатель еще говорил, критикуя написанное Опаровым, и хотя тот сам же просил не стесняться в критических замечаниях, теперь наершился, ему не понравилась такая слишком самоуверенная критика. «Как писатель ты понятно много опытнее меня, но умнее ли ты я не знаю». Снова проснулись прежние отрицания всяких авторитетов, никогда за всю жизнь не слушался ничьих советов — только Муров был исключением. «У каждого стремление стричь всех других под свою гребенку, но меня не подстрижешь, то что я пишу продумано за многие годы, и так думал Муров. А как ты сам пишешь, нет ли у тебя длиннот и лишней болтовни?» и Опаров сказал:

«Вы понятно считали слова по английскому тексту, а в английском языке всегда много больше слов чем в русском. Наши слова иногда слишком длинны, но зато у нас гораздо меньше слов на странице, а смысл тот же и иногда даже с более тонкими оттенками...»

Писатель в тоне Опарова почувствовал некоторую иронию, и ирония действительно была. Как всегда бывает и с другими, просят критиковать не стесняясь, а потом очень недовольны, и даже начинается скрытая неприязнь к человеку, который так свободно критиковал.

* * *

Мисси пришла сказать что завтрак подан, втроем сели за стол, она слышала весь разговор, но участия в нем не принимала, однако смотрела неприязненно на гостя.

После хорошего завтрака (китаец приноровился к вкусу и теперь превосходно готовил), после французского красного вина и гаванских сигар с черным кофе, Опаров снова почувствовал расположение к писателю, уже не сердился на него, но решил что писать будет как сам думает, а не его спрашивать.

Он сам почти никогда не пил крепких напитков, даже в студенческие годы, когда товарищи пили и его уговаривали, но зато каждый день пил вино и был уверен что без вина не может быть вкусной еды — думал одинаково с французами, которые вообще не представляют себе жизни без вина. Но других он всегда угощал коньяком или арманьяком, еще в Петербурге завел цветные бокалы разных оттенков, и себе брал самый темный чтобы не было видно сколько налито туда.

Англичанин положил в пепельницу уже потухающий окурок сигары и встал с намерением уходить. В это время на террасу из сада вошла Мисси и дала что-то попугаю, тот стал грызть громко щелкая клювом, но это было что-то очень твердое, взявши в лапу он посмотрел одним глазом, перевернул другой стороной, опять стал грызть уже яростно и наконец злобно швырнул на плитчатый пол.

«Что вы ему дали Мисси?»

«Китаец дал мне несколько орехов, я раньше никогда их не видела, треугольные, очень крепкие, они называются пара, один маленький я дала ему».

«Вчера вы целый день писали, не купались, скажите китайцу чтобы он вас отвез на Вайкики, может быть и сам выкупается, хотя кажется он не любит купаться... Пусть повидается со своими земляками и поищет хороший арбуз пока вы будете купаться».

Мисси с видимым удовольствием согласилась, у нее и самой было это желание, с этой целью она и пришла с орехом для попугая, очень была довольна что не надо было спрашивать разрешения, а Опаров сам предложил.

«Скажите Нони чтобы дала нам еще кофе», добавил Опаров. «Не уходите», сказал англичанину: «посидите еще, торопиться некуда, мы ведь не воюем... В былое время у нас в Петербурге сидели за завтраком часами, сидели не только бездельники, а и очень занятые люди, и после хорошего завтрака решались иногда важные вопросы, в этой дружеской обстановке находились решения, которых не было бы в деловом кабинете, при официальном разговоре. Теперь эта былая жизнь канула в вечность, толпа не может сидеть по нескольку часов за завтраком, ей и не нужно, решения толпы всегда посредственны и не создадут лучшего будущего для человечества...

Мне хотелось бы сделать вас постоянным сотрудником журнала и мне кажется что вам как пацифисту он должен быть сроден. Это не журнал для толпы, ей нужны сенсации и актуальность а в нашем журнале ничего этого нет, но идеи, проводимые в нем, гораздо важнее сенсаций и актуальностей, они интересны и приемлемы для немногих, но эти немногие могут оказать влияние на многих. Меня радует что нашлось уже так много желающих получать наш журнал и я уверен что после окончания войны число читателей значительно вырастет. Полжизни я радовался каждой деловой удаче, носил постоянно в кармане уже замусоленную бумажку, на которой мелким почерком записывал каждую новую сумму, какая прибавлялась к моему состоянию — а теперь мне это совсем чуждо, навсегда ушли эти мысли, теперь я радуюсь каждому письму в котором просят высылать наш бесплатный журнал».

Японка принесла кофе. Опаров раскрыл сигарную коробку, но там оставалась только одна сигара. Он встал, подошел к белому изразцовому шкафику и вынул новую коробку. Не разрезая бумажек, какими была оклеена коробка, уверенным движением подсунул перочинный нож под верхнюю дощечку и с тихим треском, таким приятным настоящему курильщику, крышка отскочила и он протянул коробку писателю — закурили еще по сигаре.

«Я думал что это печка и удивлялся зачем она в здешнем климате, а оказывается это сигарный шкафик, никогда не видал такого», сказал писатель.

«Я тоже раньше не видал, не знаю как он попал сюда, судя по клейму немецкой работы. В таком изразцовом шкафике сигары превосходно сохраняются, поддерживается та же температура и та же влажность...

Вам как англичанину может показаться несколько странным что идея такого журнала пришла русскому, редактор русский, возникает невольно мысль о национальности, а вопрос национальности самый острый и превратный — причина многих затруднений и препятствий для сближения людей. Говорят о какой-то русской душе, об «ам слав» по французскому выражению. Никакой особенной души у нас нет, если есть действительно особенные черты характера, то это только результат условий жизни, воспитания, даже окружающей природы. Да, у нас русских есть действительно характерная черта, мы как-то склонны гораздо больше вас англичан сближаться с другими людьми и даже иногда раскрывать свою душу, иногда до смешного. А вы холодны и сдержанны, вы можете целый день просидеть в купэ с кем-нибудь и не заговорить, не поинтересоваться с кем вы едете, а тем более рассказывать что-нибудь о себе».

«Эта черта русских симпатична, но эти разговоры о самом себе, раскрывание души перед первым встречным мы не понимаем. Собеседник ни с того ни с сего начинает вам рассказывать всю свою жизнь, чуть ли не с раннего детства, а это совсем не интересно слушающему, какое мне дело до его детства или даже до его успехов. У нас в Анг-

лии даже в средних семьях внушали детям что меньше всего нужно говорить о себе самом. Я сравнительно мало знаю русскую литературу, но помню например что в «Крейцеровой сонате» Толстого человек ни с того ни с сего начинает рассказывать случайному спутнику всю свою драму — в данном случае это может быть было интересно, но вообще что может быть скучнее когда кто-то без конца рассказывает о своих родственниках, знакомых и особенно о гениальных детях. Где-то у Достоевского как будто культурные люди начинают рассказывать о своих самых позорных поступках какие у них были за жизнь — для меня это невообразимо и даже скажу неприятно...»

«Да, это в Идиоте», подтвердил Опаров и задумался о том нужна ли уж такая наша русская откровенность, не скучна ли она другим и может быть наивна.

* * *

После хорошего завтрака обычно люди легче соглашаются с мнением других и даже склонны выполнять какие-нибудь просьбы, кроме того в кармане лежал чек на тысячу долларов, но почему-то вдруг писателю не понравился самодовольный тон этого богатого русского, заговорила писательская свободная мысль.

«Я получил от вас аванс за статьи для журнала, понятно я аванс отработаю, но возможно что вам не понравится то что я напишу. Вы проводите мысль что любовь к кому-нибудь как будто панацея от всех зол, путь для счастья человечества, даже путь к пацифизму. Как видно из письма Мурова и из разговоров с вами это чувство любви нужно прежде всего для самого себя, потому довод что надо кого-то любить так убедителен. Но мне совсем не ясно как это улучшит жизнь других. Религиозная проповедь любви ко всем расплывчата и неубедительна. Ваша формула любви к немногим более убедительна, потому что эта любовь даст приятные переживания и сделает жизнь радостнее для того кто любит, но как это может отразиться на других, — мне не совсем понятно...»

Опаров внимательно слушал что говорил писатель, и когда тот кончил он стал отвечать только после паузы.

«Ваши сомнения были и у меня, но все-таки остается мысль что любовь высшее и самое радостное чувство, какое дано людям и только людям. Мысль о любви может быть не панацея от всех зол, но если постоянно жить с нею, многое может измениться к лучшему и в жизни других. Я уверен что мысли и чувства людей выделяют какие-то излучения или токи, эти токи влияют на окружающих, если не на всех, то на многих. Любовь привлекает к себе, токи любви заражают людей помимо их воли и сознания и могут возбуждать у них по индукции такие же токи, а злобные токи отталкивают, но тоже могут заражать... Другого пути к духовному подъему нет, это тоже только узенькая дорожка, но по ней можно идти охотно потому что в основе эгоизм, он есть у каждого, он убедителен без всяких доказательств и доводов. Если искать постоянно в самом себе чувство любви, то постепенно изменишься и поможешь измениться другим...»

Последние годы Опаров стал более молчаливым, но иногда почему-то — для всякого *почему-то* всегда есть какая-то причина — являлось желание долго говорить, иногда даже не замечал что повторяется, а это так осуждал у других.

«Я еще поясню. Приказы религий, общественный договор или философские постулаты, вроде кантовского «нравственный закон во мне» все-таки не для всех обязательны, возникают сомнения что нужно и что нельзя, а вот когда необходимость любви выводится из чисто эгоистического чувства, это никем не приказано, нужно для себя самого чтобы жизнь была лучше, радостнее — тогда никак эту уверенность не подточишь. Альтруизм высокое чувство и очень важно проповедовать его, но оно не живет у всех, и для многих подлежит критике и сомнению, есть «я» и есть остальной мир, и нужно уверить человека что любовь нужна ему самому, для его собственного благополучия и более радостной жизни...

Вы должны подумать что я повторяюсь, я сам это понимаю, но все-таки еще хочу подкрепить свою мысль, которая мне так дорога, с нею я кончу жизнь. Вы несомненно философию знаете лучше меня, но я тоже довольно много читал, не только Канта, но и Лейбница, Шопенгауэра, Юма, даже Гартмана, понятно Ницше — и никакой основы для морали у них не нашел, никакая философия построить ее не может. Христианская религия имела большой успех потому, что обещала награду в будущей жизни, во всех религиях есть будущая жизнь, тогда есть и Бог, а если нет будущей жизни то и никакой Бог не нужен, для умершего нет ни награды ни наказания. Но так как есть много верующих в потусторонние обещания, то религии занимают очень важное место в жизни людей и могут влиять на мораль, однако в основе всегда эгоизм, только это чувство убедительно и несомненно. Подвижники, каких религии сделали святыми, совершая свой подвиг думали о спасении своей душеньки прежде всего, старались спасать и души других, но свою во всяком случае, и нет несомненно ни одного подвижника, который был бы готов спасать других с тем что сам пойдет на вечные муки в аду...

Я всю жизнь прожил в стремлении к накоплению, растратил душу на это, упорной работой все с той же мыслью составил себе состояние, случайно оно еще увеличилось — и удовлетворения не было... я получил наследство Мурова, странно что именно мне он все оставил, одна фраза из его письма изменила мое мышление, я стал другим человеком, нашел цель и смысл жизни. Он не ошибся завещавши все мне, я следую за ним...

Так вот повторяю, чувство любви единственный путь оправдать свою жизнь, улучшить свою и жизнь других. Я готов просто раздать все свои деньги, но решил что более важно и ценно истратить их на наш журнал, внушив через него другим те настроения и чувства какими я живу теперь, лучше этого я ничего не нашел и с этим останусь до последней минуты».

Разговор перешел на другое, и когда писатель уходил у Опарова не было никакой обиды, а почувствовал к нему

еще большее расположение, подумал что особенно ценны такие люди, не дакальщики, а возражающие, и если согласятся, то их мнения могут только усилить те доводы, против которых они возражали.

Прощаясь Опаров подал писателю только что открытую коробку сигар:

«Вы тоже любите сигары, позвольте мне сделать вам этот маленький подарок».

Писатель протянул руку нерешительно, точно колебался взять ли коробку. Опаров понял его сомнения и добавил:

«Я теперь стараюсь уменьшать траты на себя самого, постепенно еще сокращу их, все деньги должны уйти на журнал, но последнее от чего я откажусь будут сигары». Оба засмеялись и писатель уже охотно взял коробку, и видимо был доволен этим подарком.

Слова писателя об учительском тоне в статье хорошо запомнились Опарову и он стал снова перечитывать свою статью; хотя казалось что это важно и ценно, а все-таки много вычеркнул.

• • •

Первая статья Опарова для журнала:

Сегодня население земного шара два миллиарда восемьсот миллионов, и каждую секунду прибавляется еще один человек, к концу этого столетия будет пять миллиардов. Треть населения нашей планеты ведет полуголодное существование. Плодимся ускоренным темпом, не обеспечивая приятной жизни своему приплоду.

Один из основателей психоанализа, Фрейд, поставил во главу угла сексуальность и благодаря этому стал особенно популярным; сексуальность громадная сила и во многом управляет жизнью людей, но еще бóльшая сила — голод. По сексуальным поводам и причинам иногда убивают одного или двух, а голодные тысячи станут убивать тысячи других.

Мы живем во время небывалых открытий и завоеваний механики, изучаем окружающую нас природу и начи-

наем понимать ее совсем по-иному. Уже тот стол, на котором я пишу — не прежний деревянный стол, а комбинация бесчисленных атомов, которые отталкивают мою руку когда я прикасаюсь к столу, никакого стола в прежнем понимании больше нет, это только движение атомов, и теперь когда мы разложим атом, хотя его никогда не видели и никогда не увидим, реальный мир не так важен, как важны законы новой физики. Но я остаюсь с моим столом и он для меня по-прежнему деревянный, и когда я по своей неловкости стукаюсь о его острый край — у меня на лбу образуется шишка.

Хайзенберг составил знаменитую формулу, из которой ясно что в мире царствует индетерминизм: никак нельзя предсказать куда прыгнет атом или его составная частица, нельзя построить координат его местоположения в пространстве. От этой его потрясающей формулы ровно ничего не изменилось, одно в нашей жизни случайно, другое строго и точно предопределено: от кого и когда родится большой человек, родится или не родится — это полная случайность, полный индетерминизм, но что каждый родившийся когда-то — рано или поздно помрет, в этом нет сомнений — полный детерминизм. Самым важным законом или самой гениальной математической формулой была бы такая, которая делала бы жизнь людей счастливее, приятнее — но такой формулы никогда не будет, тут путь иной, не математический...

Как будто забыли что самое главное человек, что самое важное не в том как движутся планеты, а как сделать жизнь людей лучше. Открытие радиоактивной энергии внесло много нового в нашу жизнь, явилось радио и телевизия, радары и многое другое, но стало ли человеку от этого лучше?

Одной из главных задач является сейчас стремление к скоростям, а эти скорости не только несут в себе новые опасности и катастрофы, но вредны для организма — зачем нужно это ускорение передвижений — над этим не задумываются: разве что для войны! Почти треть людей в больших городах заняты передвижением других людей,

все куда-то едут, это особенно поощряется туристическими конторами, государствам нужны туристы. Уходит былой уют, привычка к родному углу, разрушается семейный строй. Раньше жили замкнуто, в привычной обстановке, и только изредка являлось желание вмешиваться в чужую жизнь, а теперь при быстрых сообщениях это желание все растет и ничего доброго не сулит.

Излечивая одни болезни создают другие, механизация все больше увеличивает нашу нервозность, дома для сумасшедших и нервнобольных переполнены, а еще многие ходят на свободе, потому что не зарегистрированы или для них нет места в домах для нервнобольных.

Люди забыли что главное они сами, каждый отдельный человек, и все нужно делать для него, улучшать его жизнь, и тайны природы хорошо раскрывать только для того чтобы жизнь человека стала радостнее. Некогда думать, книг читают все меньше и меньше, жизнь становится каким-то транспортером, мимо нас движется лента всяких механических достижений и общедоступных зрелищ. Многие думать не любят, а так просто сесть на эту ленту и двигаться вместе с нею или стоять около нее, и чем дальше тем больше прикрепляемся к этому транспортеру. Индивидуальность умирает, собственное мышление не нужно, уже есть механическая программа и по ней живем — все уподобляясь муравейнику.

Жизнь без рассуждений, без критики окружающего, без собственной мысли даже заманчива, не надо думать, но счастливее ли от этого стали люди?

Если древнюю египетскую пирамиду, более громадную чем пирамида Хеопса, представить себе состоящей сплошь из людей, то внизу неисчислимые массы, а на самом верху только маленькая площадка и на ней могли бы уместиться полсотни человек. На нижних и средних площадках громадные толпы, и каждому в толпе видно только в одну сторону горизонта, даже если рядом стоящие не заслоняют вовсе все окружающее.

В периоды расцвета культуры в древние времена были люди, философы и ученые, обладавшие всеми знаниями ка-

кие были тогда, знаний было еще так немного, что за годы их можно было все воспринять — теперь это невозможно; количество знаний так велико и культурная жизнь так усложнилась, что неизбежно явилась специализация, и даже избравши какую-нибудь отрасль знания еще и в ней нужно выбрать определенную часть, еще больше специализироваться. Все меньше духовной элиты, пилотов человечества, всё специалисты, часто совсем невежественные в других областях, некому думать об общем.

Основание человеческой пирамиды все ширится, пирамида быстро растет, но на верхней площадке пусто. А ведь только стоящие там и ценны для прогресса человеческой мысли и совершенствования людей, только им видно во все стороны горизонта.

Если население нашей планеты будет безудержно расти, если прогрессом мы будем считать завоевание механики, ускорение передвижений, производственные и спортивные рекорды, то человечеству грозит в недалеком будущем еще более трудная и печальная жизнь. Всеобъемлющие математические формулы не разрешат вопроса, даже оздоровление человеческого тела ничего не даст, нужно оздоровление духа, и какими путями придти к этому — не мне судить, я не стою на верхней площадке, но кто-то должен там стоять, и только тогда человечеству предстоит лучшее будущее. Прославленный философ Плотин написал: «Пока душа в теле — человек спит глубоким сном». Если душа все время будет спать до смерти, толку из нашей здешней жизни не выйдет, и надо приложить какие-то героические усилия чтобы душа проснулась еще здесь на земле.

* * *

Пережили и непонятное, невообразимое воскресенье 7 декабря, когда десятки военных судов — значительная часть могущественного американского флота, стоявшего в Перл-Харбор — были уничтожены налетом японских бомбовозов. Об этом необъяснимом событии много говорили, обсуждали и не могли найти объяснения. Опаров напомнил писателю что нечто подобное было у русских в 1904 году в

Порт-Артуре, когда так же неожиданно, без объявления войны, японцы напали на русский флот, но там это было гораздо меньших размеров и совсем при других условиях. Теперь военная техника ушла далеко вперед, во время Порт-Артура не было ни аэропланов ни радаров, а теперь охраняя Перл-Харбор американские аэропланы осматривали океан на далекие расстояния, на берегу стояли самые совершенные радары и вне сомнений были же и шпионы в Японии. Военная разведка благодаря радио приняла совсем другие формы, и как же могло случиться что почти весь офицерский состав был на берегу, танцевали в разных отелях, а пушки на судах были покрыты чехлами? Как могли пропустить это дерзкое нападение? Ходили толки что кто-то знал о нем в Вашингтоне и нарочно задержал сообщение чтобы Америка вошла в войну. Трудно было этому поверить, но другого объяснения не было, и Америка теперь была в войне с Японией, а через несколько дней и с Германией.

Издание и рассылка журнала еще более затруднились, но продолжали много работать, готовя материалы и поддерживая сношения с читателями по прежним адресам. Ничто не должно останавливать дальнейшего развития журнала, и даже теперь были в разных газетах Северной и Южной Америки объявления о нем и откликались новые читатели. Вне сомнений после окончания войны дело будет с каждым днем шириться.

Удалось наконец получить сведения и об отце Мисси и пространную телеграмму из дому. Отец Мисси был в германском лагере и горел надеждой снова оказаться в Париже и работать в журнале. А в сад виллы упала большая бомба, павильон разрушен, в главном доме повреждена стена, обвалились карнизы и выбиты почти все стекла, но в нем по-прежнему живет Прасковья и при ней двое слепых — один русский, другой француз, они помогают поддерживать сад слепых. Писанка был тяжело ранен во французской армии, а теперь больной вернулся домой без левой руки и без левого глаза, но все-таки именно он писал телеграмму. Его сын Гриша убит бомбой.

* * *

В первую половину жизни Опаров не задумывался о том что будет после него, не интересовался этим, но в последнее время стал думать как распорядиться тем имуществом что останется, не должно быть случайностей или какого-то постороннего произвола, сам должен распорядиться всем, как это сделал Муров. Вдруг решил и отправился к нотариусу.

«Я далеко еще не собираюсь умирать, но все-таки хочу составить теперь же мое духовное завещание», сказал нотариусу. Тому было все равно собирается ли его клиент умирать или не собирается, всякий совершённый в его конторе акт хорошо оплачивается. Точно продиктовал текст завещания, все обдумывал раньше, всегда так поступал, и в прежних делах никогда не диктовал письма не зная точно как его кончит.

Треть имущества какое останется, в чем бы оно ни было, идет на сад слепых вместе с парижской виллой; все переходит городу, но с непременным условием чтобы сад слепых содержался по-прежнему, а Прасковья и Писанка остаются жить в части виллы и им назначается пожизненная пенсия. Другие две трети имущества идут на издание журнала, который должен во что бы то ни стало продолжаться, все увеличиваясь в тираже, и при журнале остаются на всю жизнь пастор, Мисси и писатель, автор статьи «Осколок разбитой бутылки».

Была еще мысль оставить гонолулский дом японке и китайцу, если они проживут тут до его смерти, но отложил это решение.

Вернувшись домой, опять старался решить оправдана ли его жизнь и что он такое, какие изменения можно еще внести в оставшиеся годы. Раньше всегда были грандиозные планы, потом приходило сознание их невыполнимости, наступали разочарования, а иногда являлся и вопрос — а для чего это? У него нет настоящей семьи, но есть близкие люди, с которыми прожита часть жизни, и с ними будет жить дальше и им он хочет сделать лучшее что может.

* * *

Дверь из кабинета была отворена, кто-то на террасе громко сказал «Мисси», сказал совсем ясно. Опаров удивленный прислушался, как будто его собственным голосом кто-то сказал, никто в доме так говорить не мог. Он встал и вышел на террасу. Педро опять ясно произнес «Мисси». Мелькнуло воспоминание о Якобе, это была простая галка, тогда в Берлине прилетела в сад виллы и стала совсем ручной, не улетала. Видимо она давно была где-то приручена, однажды явилась какая-то женщина и заявила что это ее птица. К Якобу уже привыкли, не хотелось его отдавать, и решили пойти на соломонов суд, Якоба вынесли в сад и его одновременно стала звать будто бы прежняя хозяйка и Опаров. Якоб без колебаний пошел к Опарову и тогда он заявил что не отдаст его. Не приходило в голову что галка может говорить, но через сколько-то времени Якоб неожиданно стал повторять слово «Катя», как звали его жену. А вот теперь попугай выучил слово «Мисси».

«Молодец Педро» — подошел к нему, протянул палец, и Педро уселся на него: «ты значит слышал как я зову Мисси и научился говорить это слово, молодец».

Сел в плетеное кресло.

«Мы посажены в западню, которая называется наш мир, пробуравить стены этой западни нельзя никакой мудростью, в западне есть только одно отверстие, которое называется смерть... Рано или поздно каждый в это отверстие вылезает, и назад не возвращается, и число живущих в западне не уменьшается, а все увеличивается... Что там за этим отверстием? Никак нельзя себе представить ничто, но и другой мир тоже нельзя, даже самое жуткое лучше чем ничто... Так что же делать, как жить в этой западне? Надо все мысли направить на то чтобы как можно уютнее для себя и других устроиться в ней, и для этого есть единственный путь: надо искать в себе примирение и любовь, тогда жизнь лучше и себе и другим, и любить можно тоже и идею, если такую найти, и мне кажется что я ее нашел, буду жить с нею до конца... Эта идея годна

для всех времен, для всех наций, для всех строев. Свести все строи к одному невозможно, и жизнь стала бы скучнее если бы свести, и было бы меньше движения куда-то вперед, к лучшему будущему — всякий строй будет хорош если в нем проникнуться этой идеей о любви, о запрете насилия и принуждения...

Я никогда не интересовался общественной работой, не боролся за социальные реформы, был индивидуалистом, и теперь оправдываю этот свой индивидуализм — я могу свободно распорядиться своим состоянием для лучшего будущего людей. Заботы о деньгах и богатстве ушли навсегда, и если этот журнал и сад для слепых могут быть осуществлены, то только потому что это всецело в моей воле. На склоне лет нашлось что-то нужное и я могу спокойно доживать свои дни».

* * *

Муров тогда написал что свое любимое кольцо с александритом он завещает Опарову. Он никогда не говорил зря, а тем более не стал бы писать, но кольца нигде не было. Его ценность была ничтожна в сравнении с остальным завещанным, но в нем для Опарова была какая-то мистичность и он почти каждый день о нем думал. В гонолулском доме всё обыскали, но кольца не находилось, не было его и в швейцарских сейфах, да там и не могло быть. Японка и китаец говорили что до последнего дня видели его на руке Мурова, хорошо знали это кольцо. Но кольцо исчезло.

Однако жила подсознательная уверенность, что оно непременно найдется — и вот сегодня, после стольких лет, кольцо нашлось.

Накануне получилась большая почта, и воздушная и с пароходом, много газет и журналов и несколько писем. Почему-то Опаров не успел прочесть все письма и три или четыре сунул в карманы пиджака, а вечером ложась спать положил их в ящик ночного японского столика. Назавтра опять был за завтраком английский писатель, потом долго просидели за кофе и сигарами, как всегда разговор был

с ним интересен, и писатель говорил все откровеннее, постепенно в нем исчезала холодная английская сдержанность. Когда он ушел Опаров остался сидеть на террасе, затянутой совсем прозрачной металлической сеткой, даже отодвинул в одном месте сетку чтобы еще лучше было видно голубое небо без облачка и беспредельная ширь океана. Вдоль дорожки по бордюру газона пышно цвели большие белые туберозы, наполняя воздух пряным возбуждающим ароматом и он вливался и на террасу. Немного ниже за садом была улица с рядами больших красно-фиолетовых бугенвилий, этих удивительных деревьев, сплошь покрытых цветами, так что издали дерево казалось одним колоссальным цветком; еще дальше в легком ветерке чуть-чуть покачивались листья пальм, откуда-то издали доносилась гавайская песенка. Большой золотистый махаон перелетал с одного цветка туберозы на другой, точно искал который пахнет лучше, разноцветные пятнышки на его причудливо вырезанных крылышках переливались на солнце как цветные стеклышки калейдоскопа. Ночью был теплый легкий дождик и после него цветы и зелень казались еще ярче — действительно это был один из лучших уголков земного шара. И теперь, когда мысли были полны журналом, не было скучно как когда-то в первый приезд сюда, когда уезжал из России от кровавой бани, теперь все это было в далеком прошлом, не было никаких колебаний и надежд возвратиться в родную Россию, она была по-прежнему родной и близкой, но все что было там близкого уже не существует, ушло навсегда, нет прежних близких людей, и нет такой жизни какая так нравилась тогда, теперь по-прежнему родное и в то же время чужое...

Педро сидел на своей палочке и с полным знанием обрывал кожуру с банана, откусил два-три кусочка и швырнул недоеденный банан на плитчатый пол террасы; то левым то правым глазом присматривался к чему-то и покачиваясь тихонько болтал какие-то непонятные слова, может быть перувианско-японские, и вдруг дико закричал — это махаон влетел на террасу.

«Какая ты глупая птица», ласково сказал Опаров:

«чего так дико кричишь, ты ведь не какаду, нашел чего испугаться, бабочки! Ты член семьи, тебе здесь хорошо живется, а вот спустить с цепочки тебя нельзя, вылетишь в сад, потом куда-то дальше и пропадешь. Уже был такой случай с тобой, едва нашли».

Сунул ему толстый номер газеты, и попугай стал разрывать его на мелкие клочки, разбрасывая их по полу.

Стал опять просматривать газеты и журналы и тут вспомнил о непрочитанных письмах, положенных в ночной столик. Крикнул проходившей по дорожке Мисси чтобы она принесла их. Педро два раза повторил: «Мисси... Мисси...» Прошло несколько минут и на террасу из спальни выбежала Мисси, никогда она так не бегала, явно что-то случилось, на секунду он даже встревожился, но увидел что у нее веселое и возбужденное лицо, что-то в руках, она прямо подбежала к нему со словами:

«Какое счастье, как я рада, я нашла кольцо».

В одной руке она держала красные сафьяновые туфли и письма, в другой кольцо с александритом, подбежала и протянула кольцо.

«Кольцо! Вы нашли кольцо Мурова, где?» Он вскочил с кресла и стал рассматривать кольцо, половина террасы была освещена заходящим солнцем, камень теперь был ярко-зеленый, несомненно кольцо Мурова. Он быстро повернулся к рядом стоящей Мисси, схватил ее за руку, привлек к себе, крепко обнял и поцеловал, поцеловал не формальным поцелуем как целуются на Пасху, это был настоящий довольно долгий поцелуй. Мисси еще больше покраснела, обхватила его, прижалась и положила голову ему на плечо, так что его лицо вплотную касалось ее волос. Впервые он почувствовал запах ее волос, раньше не знал этого запаха, никогда не было близких прикосновений за все эти годы.

* * *

Говорят что утопающий за последние секунды, когда уже нет надежды на спасение, вспоминает всю свою жизнь: сразу вспомнить всю жизнь невозможно, но может

быть и верно что в эти последние секунды жизни ярко воскресают в памяти какие-то отдельные моменты прошлого, и неизвестно почему именно эти, а не какие-то другие; мгновенно проносится в мыслях то что переживалось когда-то, может быть много лет назад. Под влиянием этого слабого запаха волос Мисси он вспомнил запах розового халатика, в котором была Валерия когда он вел ее за руку из гаража в дом чтобы скорее вызвать полицию. Было много воспоминаний, связанных с разными запахами, под влиянием какого-нибудь запаха воскресали в памяти образы и других женщин, он всегда придавал очень большое значение запахам, даже слишком, ему иногда не нравились люди только потому, что не понравился запах в их квартире. Теперь за какую-то секунду вспомнил как Ада жаловалась на Мисси за ее духи, сказала что она запретила ей душиться, вспомнил что Мисси тогда была так обижена оскорбительным тоном Ады. Ей было очень трудно с Адой, но она стойко и терпеливо переносила это столько лет.

Когда Мисси подняла лицо, у нее на глазах были слезы: самая опытная актриса не могла бы лучше придумать и разыграть, но здесь никакой игры не было, теперь он в это поверил. Десять почти лет Мисси провела около него и несколько раз уверяла его в своей любви, вначале это был только расчет, потом постепенно по какому-то капризу чувства, иногда нам непонятному, у нее явилось к нему влечение как к мужчине, оно было под запретом, исполнение было невозможно и это только усиливало его. Теперь, после стольких лет, она поняла что может наступить какой-то перелом и непременно наступит — иногда плачут от исполнения давней мечты, от счастья, и это самые удивительные слезы, лучше улыбок и поцелуев.

Все это как будто понял Опаров в течение нескольких секунд. Взявши Мисси крепко за руку выше локтя он усадил ее в кресло и сам сел рядом в другое.

«Как это хорошо что вы нашли кольцо, как я вам благодарен! Хорошо что именно вы нашли. Расскажите все подробно».

Мисси, все еще смущенная, даже не вытерла слезинку на щеке, она так и оставалась там, точно она не чувствовала что плакала; теперь уже сама положила руку на локотник его кресла, так чтобы касаться его руки и стала рассказывать, прерывала на полуфразе, повторяла сказанное, хотела говорить все подробнее, чего-нибудь не пропустить, а главное нужно было говорить об этом подольше, так как она не знала о чем другом могла бы теперь говорить, а молчать нельзя было.

«Когда вы мне крикнули с террасы чтобы я принесла письма из вашей спальни, из японского столика, что стоит у вашей кровати, я сейчас же пошла туда... я много раз видела этот столик, но не рассматривала его подробно, хотя он такой необыкновенный, а теперь почему-то я стала его рассматривать».

Когда она отодвинула верхний ящик где лежали письма, в первый раз заметила что ручка вроде большой пуговицы с красивой резьбой и что таких пуговиц еще несколько в других местах на стенках столика.

«И я подумала что может быть одна из этих пуговиц открывает еще какой-нибудь ящичек и когда я потянула за пуговицу на задней стенке, выдвинулся ящичек, в обратную сторону, сзади столика, и в этом ящике оказались вот эти красные туфли, совсем такие как вы носите... я вынула их, может быть перевернула, и в это время из туфли на ковер выпало это кольцо... Я так обрадовалась, схватила его, даже не задвинула ящичек и побежала к вам, я ведь знала как вы думали об этом кольце...»

Опаров надел кольцо на палец, оно было совсем по мерке. Позвали японку и она смущенно призналась — вспомнила что после смерти хозяина она убирала спальню, сунула эти туфли в какой-то ящик и совсем об этом забыла, и кольцо пролежало тут несколько лет. Вероятно умирающий Муров снял кольцо с руки, уронил его, оно попало в туфлю, и она пряча туфли его не заметила...

Закончив рассказ японка добавила:

«Это óни... дьявол зачаровал, и потому я совсем забыла куда положила туфли и вот теперь госпожа Мисси

сняла это колдовство. Я сегодня буду молиться по двум свечечкам».

Пришел из кухни и китаец, он тоже уже узнал о находке, стоя в дверях улыбался и качал головой и тоже был очень доволен — вероятно сознавал что все-таки жило какое-то подозрение и на него и на жену, и вот теперь оно снято. Все в доме были довольны.

Не интересовали принесенные письма, кипа журналов и газет, все мысли были о кольце. Он снова расспрашивал Мисси:

«Но как вам пришла мысль тронуть именно эту пуговицу, ведь если бы вы этого не сделали, кольцо пролежало бы там еще сколько-то лет и может быть никогда не нашлось бы?»

«Я знала что японцы любят всякие сложные запоры и секретные ящички в мебели, и когда увидела эти разные пуговицы на ночном столике, у меня мелькнула мысль нет ли и тут какого-нибудь секрета. Какое счастье что мне удалось найти это кольцо!»

И он и она всё говорили о кольце, но у того и другого, у каждого по-своему, была мысль о поцелуе, первом за десять лет.

* * *

Мысль о каком-то мистическом значении этого найденного кольца с александритом не оставляла его, точно это было одобрение Мурова из иного мира всему что он делает. И в то же время было как будто неловко от этих мыслей, как он может придавать какое-то таинственное значение этому кольцу. Такая мистичность граничит с суеверием, принижает человеческий разум, в который он так твердо и неизменно верит. Последние фразы в письме Мурова оказали такое громадное влияние на его мышление, но их писал живой Муров, когда работал его мозг, в этих фразах сказался его жизненный опыт, мудрость преклонных лет, в них был результат всего пережитого и передуманного за жизнь. Но из потустороннего мира он ничего

говорить не может, никто не может, и в находке кольца нет его воли. Однако эта мистичность красит жизнь; если исключить ее из наших переживаний — жизнь станет более скучной и оголенной, как оголена будет самая совершенная пьеса без костюмов и декораций. А вот теперь александрит связан с Мисси.

Нашлось и еще важное, связанное с александритом, совсем не мистическое, совсем логичное: его находка указывала что Муров не кончил самоубийством, а умер естественной смертью, какая положена каждому человеку. Так неприятна была мысль что он решился на самоубийство, и вот это кольцо говорит что самоубийства не было: если бы он намеревался самовольно уйти из жизни, то положил бы его где-нибудь на видном месте с запиской, или еще вернее оставил бы у нотариуса. Кольцо соскользнуло с его пальца помимо его воли, когда он был уже не в полном сознании, только так могло оно попасть в туфлю и там пролежать несколько лет.

* * *

Три письма забытых в ночном столике, за которыми ходила Мисси, когда она нашла кольцо Мурова, так и пролежали нераспечатанными до завтра, все мышление дня было занято этой находкой. Уже с юношеских лет Опаров старался мыслить рационально, избегал суеверий и всякой мистики, даже смеялся над ней, но она продолжала жить в нем как живет и во многих людях, хотя они этого не сознают и даже решительно отрицают.

Утром он вспомнил об этих письмах, они лежали где-то на террасе и только теперь стал читать. Одно оказалось совсем необычным, из южной Африки, с неразборчивым штемпелем на марках.

Случайно ко мне попало несколько номеров вашего журнала. Никаких журналов кроме финансовых никогда не выписывал. Мало ли что мне присылают печатного все шло в корзину под столом. Ваш журнал меня удивил. Бесплатный нет никаких объявлений и никакая религия или

партия и потому стал читать. Я родился в Ирландии в религиозной семье в юности был верующим. Учился в католическом лицее. Перестал интересоваться религией. Занялся наживой и с ней провел всю жизнь. Теперь скоро умирать. Моя семейная жизнь была неудачной. Жена давно умерла и я не был особенно опечален. У меня нет родственников и друзей никогда не было. Уже несколько лет я собирался ликвидировать свои дела и теперь ликвидирую. Не хочу оставить мой капитал другим наживальщикам. Мне понравились ваши статьи и поверил что нужна именно любовь. Решил в завещании свой капитал оставить вашему журналу. Должен расходиться в миллионных тиражах на разных языках. Непременно и на ирландском языке. Как это юридически оформить посоветуюсь с адвокатами. Считайте мое решение окончательным и неизменным. Получете нотариальное подтверждение.

Аминь (неразборчивая подпись)

Опаров был удивлен этим письмом, с таким телеграфным слогом, точно автор всю жизнь писал только телеграммы. Положил письмо в конверт, сунул в карман, но опять вынул и снова стал читать.

«Может быть просто шутка?» — но шутка во всяком случае была необычная и даже непонятная. Хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, позвал Мисси и дал ей прочесть письмо. И на нее письмо произвело большое впечатление.

«Очень приятное письмо, совсем необыкновенное письмо, нам много пишут, но такого никогда не было... как влияет на людей наш журнал. Он не пишет какой у него капитал, но вероятно он богатый... Только очень трудно найти ирландского переводчика...»

Позвонили, японка побежала отворять, пришел англичанин, принес рукопись.

«Как хорошо что вы сейчас пришли, прочитайте это удивительное письмо... Вероятно просто «джок» и тем не менее приятно и удивительно» — сказал Опаров подавая

письмо англичанину. Писатель прочел, задумался на минуту и опять стал читать.

«Это совсем необычно, но я хорошо знаю этого человека, вы может быть не разобрали его подписи, а я встречался с ним в Трансваале лет десять назад. Это всем известный там золотопромышленник, его терпеть не могли, жесткий и нелюдимый человек, рабочий покушался на его жизнь за те оскорбительные правила какие он вводил на своих приисках, о нем не раз писали в местных газетах. Он очень богат и его письмо совсем не джок, он так решил и он так сделает... необычные идеи привлекают необычных людей, я уверен что это не джок. Глядя в глаза смерти человек подумал о любви, я рад что ваш журнал оказывает такое влияние на людей...»

«Это не мой журнал, это наш журнал и вы его неотъемлемая часть... Пожалуйста оставайтесь к завтраку, мне хочется еще и еще говорить об этом письме и вообще о журнале. Издание журнала обеспечено, есть достаточно денег, все мое до последнего доллара должно уйти на журнал, стараюсь каждый день сокращать траты на себя самого и под конец откажусь даже от сигар».

После завтрака Опаров задержал писателя, ему хотелось еще говорить о журнале и даже о самом себе. Уже и раньше он оправдывал эти свои припадки словоизлияний тем, что когда говоришь то как будто опять об этом думаешь еще раз, даже когда говоришь с человеком от которого не услышишь возражений или какой-то ценной мысли, и тогда можно говорить.

За кофе и сигарой Опаров продолжал разговор, стараясь вызвать собеседника на возражения.

«Всю жизнь я был эгоцентриком, постоянной главенствующей мыслью было желание стать богатым, потому что не было привилегий по рождению, не имел никаких особенных прав по личным достоинствам и все-таки стал богатым, что уже привилегия, все потерял в нашей революции и опять создал некоторое благосостояние, уже совсем в новых условиях, в чужой стране, и это ставлю себе в заслугу. Есть много более высоких и достойных до-

стижений, но умение снова стать богатым в чужих условиях тоже уже повышает человека над толпой. Я никого не разорял, не обманывал и считал себя честным и порядочным человеком — и так прошла жизнь...»

Он волновался, переживал что говорит, расценивал каждое слово прежде чем сказать. Несколько раз мелькнуло сомнение зачем все это говорит, но продолжал говорить:

«Чья-то мысль может изменить или перевернуть жизнь другого человека, так изменила мою жизнь фраза моего друга Мурова, его жизнь была вроде моей, тоже все время нажива, эгоцентризм или даже просто эгоизм и на пороге смерти он решил что есть обязательное слово «нужно», которое раньше отрицал. Это слово осталось у меня навсегда, создалось убеждение что без этого «нужно», жизнь бесцельна и глупа, и нужно обратилось в любовь, самое важное и самое нужное что есть у людей. Можно отрицать существование всяких божеств, может казаться непонятной фраза «Бог есть любовь», но вполне логичным и самым рациональным мышлением нужно придти к выводу что любовь есть Бог... И вот я решил отдать все что у меня есть и все мое мышление на то, чтобы внушать эту мысль другим и если мне это удастся, то моя эгоистическая жизнь будет оправдана...»

Собеседник слушал внимательно и на его лице не было иронической улыбки как бывало при первых разговорах, и Опарову казалось что этот английский писатель уже верный друг журнала, и старался решить в какой форме удобнее предложить ему еще тысячу или две долларов, а может быть больше, потому что весь капитал предназначенный для журнала должен тоже повысить жизненный уровень писателей, они самые ценные люди, а их доходы ничтожны в сравнении с другими, этого до сих пор не понимают самые культурные правители, а те которые поняли, сделали из писателей чиновников, обязанных писать по приказанной программе, а писатель который пишет по приказанной программе уже не писатель и его произведения уже не литература.

Когда писатель уходил, Опаров вынул из шкафика коробку сигар, попросил взять ее с собой и улыбаясь сказал:

«Уже сигары более дешевые, вы вероятно заметили, это манильские».

Писатель взял коробку и тоже улыбался.

КНИГИ Вл. КРЫМОВА

* О прочем — 1912 г.
* В стране любви и землетрясений — 1914 г.
* Чтобы жизнь не была так печальна — 1917 г.
* Богомолы в коробочке — 1921 г.
* Странные рассказы — 1922 г.
* Город-Сфинкс — 1922 г.
* Радость бытия — 1923 г.
* Детство Аристархова — 1924 г.
* Сегодня — 1925 г.
* Бог и деньги в 2-х томах — 1926 г.
* Монте-Карло — 1927 г.
* Люди в паутине — 1930 г.
* Барбадосы и Каракасы — 1932 г.
* Сидорово учение — 1933 г. Выдержало 4 издания.
* Хорошо жили в Петербурге — 1933 г.
* Дьяволенок под столом — 1933 г.
* Фуга — 1935 г.
* Миллион — 1936 г.
* Обрывки мысли — 1937 г.
* Похождения графа Азара — 1938 г.
* В Царстве Дураков — 1939 г.
* Сенсация графа Азара — 1940 г.
* Фенька — 1945 г.
* Дрозофилы и Мы — 1947 г.
* Может быть — 1949 г.
* Из кладовой писателя — 1951 г.
* Завещание Мурова — 1960 г.

Склад издания:

Russian Book Store "Don"

80 East 4th St., New York 3, U.S.A.

Цена $ 3.00

Склад издания:
Russian Book Store "Don"
80 East 4th St., New York 3, U.S.A.